



МЕССИЯ

ИНОГДА СПАСТИ СОТНИ ЖИЗНЕЙ
ОЗНАЧАЕТ ПОЖЕРТВОВАТЬ ОДНОЙ

АВТОР

АРИАНА БЁРНЕЛЛ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Ариана Бёрнелл

Мессия

«Автор»

2026

Бёрнелл А.

Мессия / А. Бёрнелл — «Автор», 2026

Война стирает границы между добром и злом. Когда небольшой город Лихтенбург превращается в военный госпиталь, под сводами старинной церкви ежедневно сталкиваются жизнь и смерть. Сюда спустя много лет возвращается молодая медсестра, называющая себя Инквизитором. Она приехала спасать раненых, но на самом деле ищет лишь одного человека. Священника. Человека, который однажды совершил грех... и так и не был осуждён. Пока вокруг рушится мир, она пытается доказать, что убийству нет оправдания. А он каждый день спасает чужие жизни, молча неся тяжесть собственного выбора. Но что, если самый страшный грех — не отнять одну жизнь, а отказаться пожертвовать одной ради спасения сотен? «Мессия» — это психологическая драма о войне, вине, вере и прощении. История, в которой враги становятся единственными людьми, способными понять друг друга, а любовь рождается там, где, казалось бы, ей никогда не было места.

© Бёрнелл А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог/Глава 1	5
Глава 2	41
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Ариана Бёрнелл

Мессия

Пролог/Глава 1

*«Милосердие не всегда означает спасти жизнь.
Иногда оно означает взять на себя грех,
чтобы кто-то другой смог продолжить жить.»*
Из «Книги Завета Света», глава XXIII, стих 11.

Посвящение

Посвящается тем, кто до последнего держал чужую руку, когда уже не оставалось надежды.

Тем, кто спасал, зная, что не сможет спасти всех.

Тем, чьи имена редко остаются в учебниках истории, но навсегда остаются в памяти тех, кому они подарили ещё один рассвет.

И каждому, кто однажды потерял свой дом, но не потерял способность сострадать.

Предупреждение

Этот роман содержит описания военной медицины начала XX века.

В тексте присутствуют сцены хирургических операций, инфекционных заболеваний, смерти, религиозных конфликтов, последствий войны, психологической травмы и нравственного выбора, который не имеет однозначно правильного ответа.

Большинство медицинских методов, описанных в романе, соответствуют представлениям своего времени и сегодня считаются устаревшими либо ошибочными.

Несмотря на историческую основу, государство, религия, персонажи и события являются художественным вымыслом.

Часть I. Потерянный рай

Глава I. Смирение

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.»

- Евангелие от Матфея 5:5

Апрель 1914 года

Королевство Астерия

Пограничный город Лихтенбург

Говорили, будто Господь первым создал не человека, а тишину.

И только затем наполнил её дыханием жизни.

Каждое апрельское утро в Лихтенбурге напоминало мне именно об этом.

Город ещё не проснулся окончательно. Между островерхими крышами старых домов медленно поднимался сизый туман, напоённый запахом талого снега, влажной черепицы и молодой речной воды. Над узкими улочками, вымощенными тёмным булыжником, лениво перекликались первые голуби, а высокие шпили собора Святого Михаила уже золотились под холодными лучами восходящего солнца, словно кто-то осторожно коснулся их сусальным золотом.

Весной Лихтенбург всегда казался обманчиво тёплым.

Солнце светило ярко, почти по-летнему, но стоило выйти из дома без плаща, как северный ветер, спустившийся с перевалов Эдельских гор, мгновенно пробирался под одежду, заставляя сильнее запахивать воротник.

Мне нравился этот ветер.

Он пах свободой.

Пах мокрым камнем, хвойной смолой и рекой Лихт, разделявшей город почти пополам. Казалось, именно он приносил в Лихтенбург дыхание всего мира - далёких лесов, горных деревень, железной дороги и стран, названия которых я знала пока только по старым географическим атласам отца.

Наш дом стоял недалеко от госпиталя Святой Агнессы - двухэтажный профессорский особняк из светлого известняка, окружённый небольшим садом. Весной сад оживал первым. Под окнами распускались белые крокусы, вдоль дорожек тянулись молодые побеги лаванды, а старая яблоня, посаженная ещё задолго до моего рождения, покрывалась таким количеством цветов, что казалась окутанной облаком.

Отец всегда говорил:

- Дом врача должен пахнуть не лекарствами, а жизнью.

Наверное, поэтому каждый год он собственноручно высаживал новые цветы, сколько бы ни уставал после операций.

Сегодня окна хирургической уже были распахнуты настежь.

Холодный воздух медленно вытеснял из комнаты тяжёлый запах растопленного воска, спиртовых растворов, нагретого металла и влажного льна. Белые занавеси едва заметно колыхались, пропуская внутрь свет, который ложился на пол ровными золотыми полосами.

Я задержалась на пороге всего на несколько секунд.

Этого было достаточно, чтобы понять: отец начал без меня.

- Опаздываешь, моя девочка.

Я виновато улыбнулась.

- Простите... госпожа Грета снова уговорила меня взять пирог с собой.

- Конечно уговорила.

Он даже не поднял головы.

- Она убеждена, что врач никогда не должен работать натошак.

- А разве это не так?

- Именно поэтому я никогда с ней не спорю.

Я тихо рассмеялась.

Такие разговоры случались почти каждое утро.

Они были настолько привычными, что казались частью самого дома, как часы в гостиной или скрип второй ступеньки лестницы.

Отец уже стоял у большого дубового стола, застеленного безукоризненно выглаженной белой простыней. Поверх неё лежали аккуратно разложенные инструменты: скальпели, зажимы, костные пилы, крючки, иглодержатели и тонкие изогнутые иглы, каждая из которых блестела так, будто была изготовлена только вчера.

На самом деле большинство этих инструментов было старше меня.

Каждый вечер отец собственноручно разбирал их, кипятил, полировал и складывал обратно в деревянные футляры.

Он не доверял эту работу никому.

Даже мне.

Рядом на столике стояли несколько больших эмалированных тазов с горячей водой. Над ними поднимался лёгкий пар.

Я сняла пальто и привычным движением закатала рукава.

- Руки.

Отец произнёс это так спокойно, словно напоминал о самой естественной вещи на свете.

Я подошла к умывальнику.

Мыло пахло можжевельником.

Его варили специально по рецепту отца. Он долго спорил с аптекарем, пока не убедил добавить в щёлочь можжевелевое масло и больше золы. После этого заставлял нас тереть руки

не меньше пяти минут, очищая не только ладони, но и запястья, ногти и пространство между пальцами.

Поначалу мне казалось это бессмысленной пыткой.

Теперь я уже не представляла себе другого начала дня.

После мыла шёл горячий раствор.

Потом чистое полотенце.

Только затем - тонкие резиновые перчатки.

Большинство врачей города над этим посмеивались.

- Скоро профессор Вайс заставит нас оперировать в рыцарских латах, - однажды съязвил доктор Клейн.

Отец тогда лишь улыбнулся.

- Если когда-нибудь появятся латы, способные защитить врача от болезни, я закажу их первым.

И больше ничего не сказал.

С тех пор спор закончился сам собой.

Я открыла деревянный шкаф. Внутри, аккуратно сложенные стопками, лежали белые маски. Не фабричные. Их вообще нигде не продавали. Отец шил их сам. Вернее, сначала шил неровно и ужасно. Потом научился.

Каждая состояла из нескольких слоёв плотной марли, прошитой тонкими стежками, чтобы ткань не расходилась после кипячения. По краям были пришиты длинные хлопковые ленты.

Он говорил, что рот врача способен причинить боль не меньше грязного скальпеля.

Я до сих пор не знала, откуда у него появилась эта мысль. Но каждый раз, завязывая маску, вспоминала его слова.

"Если однажды он окажется прав..."

Я не успела закончить мысль. Со двора донёсся знакомый скрип калитки. Потом - быстрые шаги по каменной дорожке. Через мгновение дверь открылась.

- Доброе утро.

Михаэль вошёл, осторожно придерживая тяжёлый деревянный ящик обеими руками.

Он был выше меня почти на голову. За последний год плечи заметно окрепли, детская худоба почти исчезла, но движения оставались удивительно мягкими, словно он всё время боялся случайно причинить кому-нибудь неудобство. Чёрная одежда семинариста ещё не была настоящей сутаной - только длинный ученический подрясник с широким кожаным поясом, на котором висели молитвенник и маленький деревянный крест.

На воротнике поблёскивали капли дождевой воды.

Наверное, с утра успел побывать в соборе.

- Доброе утро, Михаэль, - улыбнулся отец. - Отец Конрад опять заставил тебя звонить в колокола?

- Он говорит, что утренний звон дисциплинирует душу.

- А ты что думаешь?

Михаэль поставил ящик возле стены.

- Пока что он дисциплинирует только мои руки.

Он показал покрасневшие ладони.

Я невольно улыбнулась.

Он тоже.

И только потом посмотрел на меня.

Не быстро. Не смущённо. Спокойно. Так, словно хотел убедиться, что со мной всё в порядке.

- Доброе утро, Люция.

- Доброе.

- Госпожа Грета снова дала тебе пирог?

Я удивлённо подняла брови.

- Откуда ты знаешь?

- Потому что иначе ты бы не опоздала.

Отец тихо усмехнулся, продолжая раскладывать инструменты.

- Видишь, моя девочка? Иногда наблюдательность бывает заразительной.

Я хотела возразить, но поймала взгляд Михаэля. Он улыбался. Совсем немного. Одними глазами.

И почему-то именно от этой почти незаметной улыбки внутри у меня стало необыкновенно тепло, словно весеннее солнце наконец сумело прогреть холодный апрельский воздух.

«Как странно...Когда он улыбается, мне кажется, будто весь дом становится светлее.»

Михаэль успел снять промокший плащ и, как всегда, без лишних слов занял своё место возле большого дубового шкафа, где отец хранил перевязочный материал. Казалось, он давно перестал быть в этом доме гостем. Он знал, какая полка скрипит сильнее остальных, где лежат запасные бинты, сколько дров осталось в кухонной печи и какой из замков неизменно заедает в сырую погоду. Иногда мне даже казалось, что профессорский дом сам признал его своим - так же естественно, как признавал старую яблоню в саду или часы в гостиной, отбивавшие каждый час с неизменной точностью.

Я почти не помнила тот день, когда отец впервые привёл Михаэля домой.

Мне тогда было всего пять лет.

В памяти сохранились лишь отдельные обрывки: сильный осенний дождь, запах мокрой шерсти, маленький мальчик в слишком большом сером пальто и деревянный крестик, который он сжимал в ладони так крепко, словно боялся, что его отнимут.

Позже отец рассказал, что воспитанников городского приюта часто отправляли помогать в госпитале: носить воду, стирать простыни, подметать дворы. Михаэль оказался одним из таких мальчишек. Он почти не разговаривал, ел так быстро, будто каждую минуту ожидал, что тарелку сейчас заберут, и неизменно благодарил за каждый кусок хлеба.

- У некоторых детей голод проходит раньше, чем страх, - тихо сказал тогда отец. - Его страх пока сильнее.

Наверное, именно поэтому Михаэль остался. Сначала на несколько дней. Потом на неделю. Потом на всё лето.

А спустя несколько месяцев настоятель собора, отец Конрад, предложил забрать способного мальчика в семинарию. Отец согласился, но поставил одно условие:

- Этот дом всегда останется для него домом.

Так и случилось.

По утрам Михаэль учился при соборе, помогал на службах, изучал богословие, латынь и древние тексты, а после полудня неизменно появлялся у нас. Иногда помогал в госпитале, иногда развозил лекарства по домам больных, иногда просто сидел с отцом за книгами до поздней ночи, споря о природе человеческой души так горячо, будто оба давно забывали, что один изучает медицину, а другой - богословие.

Они редко соглашались друг с другом. Но никогда не спорили из гордости.

Отец говорил:

- Хороший врач ищет причину болезни.

Отец Конрад отвечал:

- Хороший пастырь ищет причину боли.

А Михаэль однажды улыбнулся и произнёс:

- Разве это не одно и то же?

С тех пор отец нередко называл его своим самым опасным собеседником.

- Почему опасным? - спросила я как-то.

- Потому что он заставляет меня сомневаться, - ответил отец, не отрываясь от книги. - А врач, который перестал сомневаться, становится опаснее любой болезни.

Я украдкой взглянула на Михаэля.

Он тогда покраснел сильнее, чем если бы его похвалили перед всей семинарией. Он никогда не умел принимать похвалу. Мне всегда казалось, что внутри него живёт маленький мальчик из приюта, который до сих пор не верит, что заслужил добрые слова.

- Люция?

Я вздрогнула.

Отец уже стоял у операционного стола.

- Крючки готовы?

- Да.

- Шёлк?

- Простерилизован.

- Иглы?

- Все на месте.

Он довольно кивнул.

- Вот видишь, Михаэль, когда-нибудь она выгонит меня отсюда.

- Не выгоню.

- Почему?

- Потому что тогда мне будет не у кого учиться.

Отец рассмеялся - негромко, искренне, так, что в уголках его глаз собрались тонкие лучики морщин.

- Ошибаешься, моя девочка. Настоящий врач всю жизнь учится у своих учеников.

Он подошёл ко мне ближе и привычным движением поправил выбившуюся из-под чепца прядь волос. Совсем как делал каждое утро с тех пор, как я начала помогать ему в хирургической. Жест был таким привычным, что я почти перестала его замечать. Но сегодня почему-то поймала на себе взгляд Михаэля. Он смотрел на нас с едва заметной улыбкой. Не с той, которой улыбаются забавной шутке. А с очень тихой, почти семейной теплотой. Будто наблюдал сцену, которую давно считал частью собственной жизни.

И, наверное, так оно и было. Дом Вайсов давно перестал быть для него местом, куда приходят в гости. Он стал тем местом, куда всегда возвращаются.

- Сегодня только одна операция? - спросил Михаэль, снимая с полки тяжёлую медную коробку, где отец хранил перевязочный материал.

- Если Господь будет милостив, - ответил отец, не переставая осматривать инструменты.

- Если нет - столько, сколько привезут.

Он произнёс это спокойно, без привычной многим врачам обречённости. За долгие годы практики Лука научился удивительному искусству - никогда не встречать беду раньше времени. Пока больной не переступил порог хирургической, для него существовало только настоящее мгновение. Но стоило человеку появиться в дверях, как весь остальной мир переставал иметь значение.

- Никогда не оплакивай человека заранее, - часто говорил он мне. - Пока сердце ещё бьётся, врач не имеет права думать о смерти.

Я уже собиралась ответить, как со двора донёсся стремительный топот копыт. Следом раздался резкий окрик.

- Профессор Вайс!

Отец поднял голову. По одному только голосу он уже понял - случилось несчастье. Дверь распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. На пороге появился санитар госпиталя, запыхавшийся, бледный, с размокшей от пота чёлкой, прилипшей ко лбу.

- Железная дорога... несчастный случай... его привезли...

Он ещё пытался восстановить дыхание.

- Молодой рабочий. Артерия... очень много крови...

Лука уже застёгивал хирургический фартук. Ни одного лишнего вопроса. Ни одной потере секунды.

- Люция.

- Да, отец.

- Стол.

Я уже двигалась. Свежая простыня легла на дубовую поверхность одним плавным движением. Следом - валик под колени, подголовник, таз для использованных инструментов, чистые салфетки, шёлковые нити, кетгут, иглы, зажимы.

Каждое движение было знакомо телу настолько, что мне почти не приходилось думать. Руки сами находили нужные предметы.

Отец говорил, что хороший помощник хирурга обязан думать на одно движение вперёд. Не тогда, когда врач попросил инструмент. А за мгновение до этого.

Во дворе уже слышались тяжёлые шаги. Четверо мужчин внесли носилки. Запах крови ворвался в комнату раньше самого пациента. Тёплый. Металлический. Плотный. Его невозможно было спутать ни с чем.

На носилках лежал молодой мужчина лет двадцати пяти. Рабочая куртка была разрезана почти полностью. Правая штанина превратилась в окровавленные лоскуты ткани, а под ними виднелась глубокая рваная рана бедра, из которой с каждым ударом сердца толчками выходила алая кровь. Артериальная.

"Бедренная..."

Мысль мелькнула мгновенно.

Ещё немного - и он погибнет.

- Как это произошло? - спокойно спросил отец, уже натягивая перчатки.

- На станции... разгружали военный состав... оборвался крюк... металлическая балка... Военный состав.

Я невольно подняла взгляд. Значит, опять эшелоны с оружием. Последние недели они прибывали почти ежедневно. Официально войну ещё не объявили. Но весь Лихтенбург уже жил так, словно она стояла за южными воротами.

Лука осторожно коснулся шеи пациента двумя пальцами.

- Пульс нитевидный.

Он посмотрел на меня.

- Люция.

- Да.

- Давление?

Я уже затягивала манжету старого ртутного аппарата. Стрелка медленно опустилась. Слишком низко. Я тихо произнесла цифру. Отец лишь кивнул.

Никакого удивления. Именно такого ответа он ожидал.

- Михаэль.

- Здесь.

- Говори с ним.

Михаэль сразу оказался возле головы раненого. Он не суетился. Не пытался делать лишнего. Лишь осторожно взял мужчину за холодную ладонь.

- Как вас зовут?

- Фридрих...

- Посмотрите на меня, Фридрих.

Тот с трудом приоткрыл глаза. В них уже появлялась мутная усталость человека, который начинает проваливаться в забытье.

- Не закрывайте глаза. Хорошо?

- Очень... холодно...

- Сейчас станет теплее. Я обещаю.

Михаэль говорил негромко. Без красивых слов. Без ложных надежд. Но почему-то даже мне рядом с ним становилось спокойнее.

Отец между тем уже работал. Одним движением расширил края раны. Кровь снова хлынула наружу.

Я почувствовала, как у меня привычно сжалось всё внутри. Не от страха. От сосредоточенности. В такие минуты нельзя было позволить себе ни одной лишней эмоции.

"Думай. Не бойся. Смотри."

Именно этому меня учил отец.

- Зажим.

Я уже вкладывала его в раскрытую ладонь.

- Второй.

Есть.

- Крючок.

Есть.

- Свет ближе.

Я переставила лампу так, чтобы луч падал глубже в рану.

Мышцы бедра расходились тяжёлыми влажными пластами, открывая повреждённые ткани. Между ними быстро скапливалась кровь, скрывая источник кровотечения. Лука не торопился. Его пальцы двигались с такой точностью, словно он не рассекал живую плоть, а восстанавливал сложный часовой механизм.

- Вот она...

Почти шёпотом произнёс он. Тонкая алая струя снова ударила между зажимами.

- Артерия повреждена. Люция.

- Да.

- Салфетку.

Я перомкнула кровь прежде, чем она успела залить операционное поле.

Отец едва заметно кивнул. Это было высшей похвалой. Он редко произносил слова во время операции. Если молчал - значит, всё идёт правильно. Если начинал объяснять - значит, кто-то уже ошибся.

За моей спиной Михаэль продолжал спокойно разговаривать с Фридрихом. О погоде. О жене, которая ждёт его дома. О маленьком сыне, которого тот успел увидеть всего несколько месяцев назад. Не давая ему уйти в темноту.

И только тогда я впервые поняла одну простую вещь. Отец спасал человеческое тело. А Михаэль в эти самые минуты спасал человека от страха.

И, глядя на них обоих, стоявших по разные стороны одного операционного стола, я вдруг подумала, что, наверное, именно так и выглядит настоящее служение - когда один возвращает человеку жизнь, а другой помогает ему не потерять надежду.

За воротами уже просыпался город.

Из кухни доносился запах свежего хлеба - госпожа Марта, наша экономка, доставала из печи ещё горячие буханки. Где-то совсем рядом глухо застучали копыта почтовой пролётки,

затем протяжно заскрипели колёса молочника. С колокольни собора Святого Михаила медленно поплыл утренний звон.

Первый. Второй. Третий.

Каждый удар расходился над Лихтенбургом мягкими кругами, словно касался не воздуха, а самой души города.

Михаэль непроизвольно остановился. Он всегда так делал. Неважно, чем были заняты его руки. Пока звучали колокола, он молчал.

Отец однажды заметил это и спросил:

- Ты считаешь удары?

- Нет.

- Тогда что ты делаешь?

Михаэль немного смутился.

- Слушаю.

- Что именно?

Он долго подбирал слова.

- Людей.

Отец удивлённо поднял брови.

- Колокола звучат по-разному... Когда кто-нибудь умер, когда венчают молодых, когда начинается служба, когда случается пожар... Горожане этого уже почти не замечают. А я слышу. Иногда мне кажется, что весь Лихтенбург разговаривает именно ими.

Отец тогда долго молчал.

Потом улыбнулся.

- Значит, ты выбрал правильную дорогу.

Я не понимала этих слов. Для меня колокола были просто частью утра. Как скрип лестницы. Как запах хлеба. Как тёплая ладонь отца на моём плече.

Только сейчас, глядя на Михаэля, неподвижно стоявшего у окна, я впервые попыталась услышать город так, как слышал его он.

За каждым ударом действительно что-то скрывалось. Где-то хозяйка открывала ставни. Где-то сонный сапожник уже растапливал печь. Где-то ребёнок просил у матери ещё пять минут сна. Где-то пожилой аптекарь развешивал над входом медный фонарь. Где-то на рынке женщины раскладывали первые корзины с овощами. Лихтенбург просыпался. Медленно. Неторопливо. Так, словно впереди был ещё один самый обыкновенный день...

- Люция.

Я обернулась.

Отец держал в руках небольшой свёрток.

- Перед тем как начнётся работа, сделай мне одолжение.

- Какое?

Он протянул свёрток.

- Отнеси это отцу Конраду.

Я удивлённо посмотрела на плотную льняную ткань.

- Что там?

- Новые маски.

Михаэль улыбнулся.

- Он всё-таки согласился?

- После трёх месяцев споров - да.

Отец победно развёл руками.

- Представляешь? Конрад заявил, что не может проводить исповедь с закрытым лицом. Пришлось почти час объяснять ему, что Господь прекрасно услышит человека и через несколько слоёв марли.

- И что его убедило? - не удержалась я.

- Я сказал, что если заболит он, прихожанам придётся искать нового настоятеля.

Михаэль тихо рассмеялся.

- Полагаю, именно это стало самым веским богословским аргументом.

- Безусловно.

Отец тоже улыбнулся.

- Иногда Господь действует через здравый смысл.

Он снова посмотрел на свёрток.

- Передай Конраду, что я сделал новые завязки. Теперь они не будут натирать за ушами.

Я осторожно взяла ткань. Маски были сложены так ровно, словно внутри лежало не несколько кусков марли, а драгоценности. Каждая прошита одинаковыми мелкими стежками. Каждая выглажена. Каждая перевязана тонкой белой лентой. Иногда мне казалось, что отец относится к таким мелочам почти с тем же уважением, что и к хирургическим инструментам.

Для него забота никогда не была мелочью.

Она складывалась именно из таких незаметных вещей. Из чистой ткани. Из вымытых рук. Из вовремя открытого окна. Из кружки горячего чая для человека, который слишком устал, чтобы попросить о помощи.

Наверное, именно поэтому люди доверяли ему ещё до того, как он начинал лечение.

Потому что чувствовали: прежде чем стать великим врачом, Лука Вайс научился быть человеком.

Льняной свёрток оказался неожиданно тяжёлым. Прижимая его к груди, я вышла на крыльцо, и апрельский воздух тотчас коснулся лица свежестью, от которой хотелось вдохнуть глубже. Небо было ещё совсем прозрачным, с тонкими прожилками молочно-розовых облаков, а солнце только начинало переползать через островерхие крыши Лихтенбурга, зажигая в окнах золотистые отблески. После полумрака хирургической город казался почти сказочным, словно ещё не успел вспомнить о человеческих бедах.

К дому уже подходили первые пациенты. Старик в потёртом сюртуке осторожно поддерживал под локоть жену, девочка лет восьми вела за руку младшего брата с перевязанным запястьем, а возле калитки, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, ожидал молодой почтальон, прижимая к боку сумку с письмами. Увидев меня, он почтительно снял фуражку.

- Доброе утро, фройляйн Вайс.

- Доброе утро, господин Рихтер. Что-то срочное?

- Для профессора. Из столицы.

Он протянул плотный конверт с сургучной печатью Королевского медицинского общества.

Я машинально провела пальцами по гербу.

Такие письма приходили редко. Обычно отец читал их поздно вечером, когда весь дом уже спал, а утром как ни в чём не бывало продолжал работать. Никогда не рассказывал о наградах, приглашениях или научных спорах. Если кто-то начинал его хвалить, он неизменно переводил разговор на другого человека.

"Хороший врач не должен привыкать к собственной славе. Иначе однажды он станет лечить своё имя, а не больного."

Я улыбнулась про себя.

Даже его скромность была какой-то основательной, словно часть характера, а не воспитанная привычка.

Поблагодарив почтальона, я убрала письмо в сумку и направилась к собору.

Дорога занимала не больше десяти минут, но я никогда не проходила её быстро.

Лихтенбург невозможно было торопливо пересечь.

Он будто сам заставлял замедлить шаг.

Наш квартал постепенно переходил в университетскую улицу, где фасады домов украшали резные эркеры, чугунные балконы и высокие окна с цветными витражами. Почти каждый дом отличался от соседнего: где-то кирпичная кладка была тёмно-красной, где-то стены покрывала светлая известковая штукатурка, а где-то первый этаж облицовывали грубо обработанным серым гранитом, добытым в Эдельских горах.

Из открытых окон аптек доносился терпкий запах сушёных трав.

Пекарни уже наполняли улицу ароматом свежего ржаного хлеба, сливочного масла и ванили. Где-то совсем рядом жарили каштаны, и их сладковатый дым смешивался с прохладным речным воздухом.

Я невольно остановилась возле булочной госпожи Греты.

Старушка, как всегда, хлопотала у витрины. Её круглое лицо светилось такой добротой, что даже самые суровые мужчины невольно начинали улыбаться.

- Люция!

Она заметила меня раньше, чем я успела поздороваться.

- Опять бежишь, ничего не поев?

- Я уже завтракала.

- А это не считается.

Она исчезла за дверью и почти сразу вернулась с ещё тёплой булочкой, посыпанной сахарной пудрой.

- Возьми.

- Госпожа Грета...

- Даже не начинай спорить. Ты становишься похожей на своего отца.

- Разве это плохо?

Она ласково рассмеялась.

- Это прекрасно. Только он точно так же забывает, что человек сначала должен поесть, а уже потом спасать весь мир.

Я не удержалась и тоже рассмеялась.

- Спасибо.

- И передай профессору, что если ещё раз пропустит обед, я лично приду в госпиталь и накормлю его при всём медицинском обществе.

- Обязательно передам.

- Передай слово в слово.

Продолжая путь, я ещё долго слышала её добродушное ворчание. Такие люди были самой душой Лихтенбурга. Они знали каждого по имени.

Помнили, кто любит яблочные пироги, а кто не переносит корицу, у кого недавно родился ребёнок, а у кого заболела мать. Иногда мне казалось, что город держится не на каменных стенах и не на городской страже, а именно на таких людях - тихих, незаметных, ежедневно совершающих своё маленькое милосердие.

"Наверное, именно так и выглядит счастье..."

Мы редко замечаем его, пока оно рядом. Оно не приходит с фанфарами. Не просит смотреть только на него. Оно прячется в запахе свежего хлеба, в знакомом голосе, в доброй улыбке человека, который искренне рад твоему появлению.

Впереди над крышами всё выше поднимался шпиль собора Святого Михаила. Его тёмный силуэт казался настолько древним, словно храм вырос из самой скалы задолго до того, как люди построили вокруг него город. Свет ложился на узкие стрельчатые окна, заставляя витражи вспыхивать глубокими рубиновыми и сапфировыми оттенками.

Я невольно ускорила шаг. Не потому, что спешила отнести свёрток. Мне вдруг очень захотелось увидеть Михаэля не таким, каким я привыкла видеть его дома - в хирургической, за

перевязками и кипами медицинских книг. А таким, каким его каждый день видели прихожане. Таким, каким он принадлежал не нам. А Церкви.

Тяжёлые дубовые двери собора были распахнуты настежь.

Стоило переступить порог, как городской шум остался где-то позади, будто его отсекала невидимая преграда. Внутри царила совсем иная жизнь - медленная, наполненная размеренным дыханием людей, тихим потрескиванием свечей и густым ароматом ладана, смешанного с прохладой старого камня.

Я всегда любила этот запах. Он не был похож ни на один другой. В нём чувствовались воск, дым, старая древесина, страницы молитвенников, которых касались сотни рук, и что-то ещё - неуловимое, похожее на ощущение покоя после долгого плача.

Сквозь витражи, изображавшие архангелов и святых, солнечные лучи проникали внутрь разноцветными потоками, окрашивая каменные плиты пола в самые разные цвета. Казалось, по храму рассыпали драгоценные камни.

Несколько прихожан уже преклонили колени у боковых алтарей. Пожилая женщина перебирала потемневшие деревянные чётки. Молодой солдат с перевязанной рукой стоял, низко опустив голову. Мать держала на руках младенца, осторожно покачивая его, чтобы не нарушить тишину.

Я машинально замедлила шаг. Даже мои каблуки здесь звучали слишком громко.

Из глубины храма донёсся молодой мужской голос. Спокойный. Низкий. Удивительно тёплый.

Я невольно подняла взгляд.

У кафедры стоял Михаэль.

Нет...

Это был словно совсем другой человек.

Ещё утром он помогал отцу переносить медицинские ящики, смеялся над шутками, поправлял бинты и выглядел обычным юношей.

Сейчас же чёрный подрясник подчёркивал его высокий рост и прямую осанку. Свет из витражей ложился на его лицо так мягко, что оно казалось почти светящимся. Он читал не громко, не стараясь поразить красотой голоса или торжественностью интонации. Он просто говорил. И люди слушали. Не потому, что были обязаны. Потому что верили ему.

- ...милосердие начинается не тогда, когда человеку легко помочь, - произнёс он, перелистывая тонкую страницу Евангелия. - Оно начинается тогда, когда страшно. Когда усталость сильнее сил. Когда сердце говорит отвернуться. Именно в этот миг Господь спрашивает нас не о знаниях и не о мужестве. Он спрашивает лишь одно: способен ли ты остаться рядом?

В храме стало ещё тише. Мне показалось, будто даже свечи перестали потрескивать.

Я посмотрела на лица прихожан. Кто-то украдкой вытирал глаза. Кто-то слабо улыбался. Кто-то впервые за долгое время поднял голову.

"Как у него это получается?"

Я знала Михаэля почти всю жизнь.

Видела его усталым, испачканным кровью после операций, голодным, сонным, иногда растерянным. Но сейчас... Сейчас мне казалось, будто передо мной стоял человек, которого я никогда прежде не знала.

Не потому, что он изменился. А потому, что именно здесь находилось его настоящее место.

В хирургической отец спасал тела.

В храме Михаэль спасал души.

И делал это с такой же самоотдачей.

Я вдруг поняла, почему отец Конрад так часто говорил, что однажды из Михаэля получится настоящий пастырь.

Не из-за знаний. Не из-за памяти. Не из-за безупречного поведения. А потому, что, разговаривая с людьми, он никогда не возвышался над ними. Он становился рядом.

И именно поэтому ему хотелось доверять.

Служба подошла к концу.

Михаэль медленно закрыл книгу.

Люди начали расходиться.

Каждому он уделял хотя бы несколько секунд. Пожилой женщине помог подняться со скамьи. Молодому солдату крепко пожал руку. Ребёнку, который испуганно прятался за мать, улыбнулся так искренне, что мальчик осторожно улыбнулся в ответ.

Никто не уходил, не услышав от него хотя бы одного доброго слова.

Я наблюдала за этим молча. И неожиданно почувствовала лёгкий укол ревности. Совсем крошечный. Почти детский.

"Он умеет так улыбаться всем...Почему мне всегда казалось, что эта улыбка принадлежит только нашему дому?"

Эта мысль смутила меня настолько, что я поспешно отвела взгляд.

Глупость. Конечно, она принадлежала не мне. Он принадлежал Богу. И именно поэтому люди приходили к нему.

Когда последний прихожанин покинул храм, Михаэль наконец заметил меня.

Сначала удивился. Потом его лицо озарилось той самой тихой улыбкой, которую я знала лучше всех остальных. Совсем не такой, как несколько минут назад. Не пастырской. Домашней. Тёплой.

Будто он снова стал тем самым мальчишкой, который однажды впервые переступил порог нашего дома.

- Лютик?

Он произнёс это имя почти шёпотом, словно боялся спугнуть тишину собора.

Это прозвище знали только трое. Он. Отец. И я.

Никогда прежде я не задумывалась, почему от этого простого слова сердце начинало биться чуть быстрее. Теперь же вдруг поняла, что не хочу, чтобы кто-нибудь ещё когда-либо называл меня так.

- Отец прислал тебя? - спросил Михаэль, спускаясь по ступеням кафедры.

Я кивнула и только теперь вспомнила о свёртке, который всё это время прижимала к груди.

- Просил передать это отцу Конраду.

- Точно, маски. Спор наконец закончился.

В его голосе прозвучала едва заметная улыбка.

- Не закончился, - ответила я. - Просто сегодня отец решил, что победил.

Михаэль тихо рассмеялся.

- Это разные вещи.

- Ты тоже так считаешь?

- Конечно. Если профессор Вайс однажды начинает кого-нибудь в чём-нибудь убеждать, спор заканчивается только тогда, когда заканчиваются доводы. А у него они, кажется, никогда не заканчиваются.

Я невольно улыбнулась.

- Он говорит то же самое про отца Конрада.

- Потому они и дружат.

Мы медленно пошли вдоль бокового нефа. Под высокими сводами наши шаги звучали глухо, словно камень под ногами помнил тысячи таких же разговоров, случавшихся здесь задолго до нашего рождения.

Несколько солнечных лучей скользнули по витражам, и разноцветные отблески неожиданно легли Михаэлю на лицо. Золотистый свет запутался в его тёмных волосах, зелёный коснулся плеча, алый лёг на рукав подрясника.

"Наверное, именно так художники и изображают святых..."

Мы подошли к боковому приделу, где почти никого не осталось. Михаэль осторожно принял у меня свёрток, развязал ленту и провёл пальцами по ровным строчкам. Совсем легко. Почти бережно.

- Лука опять шил их ночью?

- Почти до рассвета.

- Я говорил ему, что помогу.

- Он сказал, что тогда тебе придётся распарывать половину того, что сам испортишь.

Михаэль тихо усмехнулся.

- Это очень похоже на него.

Несколько секунд он молча рассматривал аккуратные стежки.

Потом неожиданно сказал:

- Знаешь... иногда мне кажется, что эти маски нужны ему не меньше, чем пациентам.

Я удивлённо подняла голову.

- Почему?

Он ненадолго задумался.

- Потому что, когда человек чего-то очень боится, он начинает делать всё, что в его силах, чтобы этот страх не стал чужой бедой.

Я не сразу ответила.

"Боится?"

Мне никогда не приходило в голову связать бесконечные требования отца с тревогой. Для меня они были просто правилами. Такими же естественными, как необходимость завязать шнурки перед дорогой или закрыть окно перед дождём.

- Он не похож на человека, который боится, - наконец сказала я.

Михаэль посмотрел куда-то поверх моего плеча, туда, где под самым куполом медленно кружили голуби.

- Самые смелые люди, которых я встречал, не были бесстрашными.

Он произнёс это так спокойно, что я сразу поняла - говорит не только об отце.

- Тогда что такое смелость?

Михаэль улыбнулся совсем немного.

- Наверное... продолжать делать то, что должен, даже когда очень страшно.

Я невольно вспомнила сегодняшнюю операцию. Отец, стоящий над раной, из которой толчками уходила жизнь. Его руки. Спокойный голос. Ни одного лишнего движения.

"Да... Наверное, именно так."

Мы снова замолчали. Тишина между нами никогда не казалась неловкой. Она была похожа на реку Лихт ранним утром - спокойную, прозрачную, несущую свои воды без спешки и лишнего шума.

Из глубины собора слышались размеренные шаги. К нам приближался отец Конрад.

В руках он держал раскрытую книгу, но, заметив нас, сразу закрыл её и улыбнулся той доброй улыбкой, которая всегда появлялась на его лице при виде молодых людей.

Он перевёл взгляд со свёртка на Михаэля, затем на меня. В его глазах мелькнуло мягкое понимание - такое короткое, что его можно было принять за игру света на витражах.

- Вижу, посылка уже добралась до адресата, - произнёс он.

- И, как всегда, вовремя, - ответил Михаэль.

Отец Конрад осторожно взял одну из масок, расправил её на ладони и с интересом рассмотрел плотную ткань.

- Передай Луке, что я выполню своё обещание.

Он слегка улыбнулся.

- Если уж Господь даровал человеку разум, было бы странно пользоваться им только во время чтения Священного Писания.

Я почувствовала, как невольно расплываюсь в улыбке. Отец будет доволен. Очень доволен. Но спорить с Конрадом всё равно не перестанет. И почему-то именно эта мысль сделала мир вокруг ещё теплее.

Отец Конрад бережно сложил маски обратно в льняной свёрток, разгладив ладонью ткань так осторожно, словно это были не несколько сшитых вручную повязок, а старинная церковная реликвия.

- Передай Луке, что я благодарю его, - произнёс он наконец.

- Передам, - кивнула я. - Только не совсем дословно.

Михаэль вопросительно посмотрел на меня.

- Почему?

Я не смогла сдержать улыбки.

- Потому что если скажу: «Отец Конрад благодарит тебя за маски», папа обязательно ответит: «Вот видишь? Значит, всё-таки убедил».

Конрад тихо усмехнулся.

- Пожалуй... ответит именно так.

- А потом ещё минут десять будет делать вид, будто совершенно случайно оказался прав.

- Всего десять? - Михаэль едва заметно поднял брови. - Ты слишком высокого мнения о профессоре Вайсе.

Я притворно ахнула.

- Михаэль!

- Что?

- Ты только что позволил себе усомниться в моём отце.

- Нет, - совершенно серьёзно ответил он. - Лишь в продолжительности его маленьких побед.

Я рассмеялась первой. Следом негромко засмеялся Конрад. Даже Михаэль, пытавшийся сохранить невозмутимость, не выдержал и улыбнулся.

Наверное, именно за такие минуты я так любила приходить в собор.

Здесь они переставали быть профессором, настоятелем и семинаристом. Оставались просто людьми, которых связывали долгие годы дружбы, бесконечные споры и редкое умение уважать друг друга, даже оставаясь при своём мнении.

Конрад покачал головой, всё ещё улыбаясь.

- Иногда мне кажется, что спорить с Лукой - такая же часть нашей дружбы, как утренний чай.

- А мне кажется, - не удержалась я, - что вы оба получаете от этих споров слишком большое удовольствие.

- Конечно, - спокойно согласился Конрад. - Если рядом есть человек, который способен возразить тебе честно, значит, Господь был к тебе милостив.

Михаэль молча кивнул. В его взгляде мелькнуло что-то тёплое, почти благодарное. Наверное, именно так он смотрел на людей, которыми искренне восхищался...

А за распахнутыми дверями собора жил своей обычной жизнью Лихтенбург.

На площади уже открылись лавки. Торговцы громко приветствовали первых покупателей, а над мостовой лениво кружили голуби, разгоняемые смеющимися детьми. Несколько мальчишек носились по площади с деревянными саблями, изображая великих полководцев.

- За Астерию! - выкрикнул один, бросаясь в воображаемую атаку.

- Не сдавайтесь! - с важным видом отвечал другой.

Деревянные клинки с глухим стуком сталкивались друг с другом, вызывая у ребят искренний восторг. Взрослые лишь снисходительно улыбались, проходя мимо. Для детей война пока существовала только в книгах, газетных рисунках и этих незатейливых играх.

Я задержала на них взгляд ещё на несколько секунд. Потом глубоко вдохнула прохладный весенний воздух, наполненный запахом камня, свежего хлеба и речной воды.

До вечера было ещё далеко.

И казалось, что впереди нас ждёт самый обыкновенный день.

Мы простились с Конрадом уже у самых дверей собора.

Он благословил нас широким, привычным жестом, который я помнила с детства, и, придерживая тяжёлую дубовую створку, ещё долго смотрел нам вслед. Солнечный свет, падавший сквозь витражи, задержался на его серебристых висках, отчего настоятель казался старше своих лет. Ему недавно исполнилось пятьдесят пять. Высокий, сухощавый, с длинными пальцами музыканта и спокойными серыми глазами, он производил впечатление человека, которого невозможно вывести из равновесия. Лишь едва заметные морщины у переносицы выдавали привычку постоянно думать о чужих бедах. Даже улыбался он не губами, а глазами, словно сначала согревал человека взглядом и только потом позволял себе улыбнуться.

- Не задерживайтесь, - сказал он, поправляя широкий рукав сутаны. - Лука наверняка уже придумал для вас обоих работу.

- Для меня - точно, - усмехнулась я.

- Для тебя он её придумывает ещё до рассвета, - заметил Михаэль.

- Это называется воспитание.

- Это называется профессор Вайс.

Мы одновременно рассмеялись.

Конрад покачал головой.

- Ступайте.

И дверь собора медленно закрылась за нашей спиной.

Мы вышли на Соборную площадь.

Весеннее солнце успело подняться выше, согрев тёмную черепицу домов. Каменная мостовая ещё хранила прохладу ночи. Возле рыбных рядов, пахло рекой, мокрой верёвкой и солью. Цветочница уже расставляла жестяные вёдра с первыми нарциссами и ветками сирени, а напротив старый часовщик, щурясь на солнце, распахнул ставни своей мастерской.

- Доброе утро, господин Михаэль!

Седой сапожник снял картуз.

- Мир вашему дому.

- И вашему, господин Краузе.

- Люция, опять в госпиталь?

- А куда же ещё?

- Береги отца.

Эти слова он произнёс совершенно буднично.

Так же, как говорил их каждое утро.

Я кивнула, не придав им особого значения.

Почему-то после службы говорить совсем не хотелось. Казалось, если сейчас произнести хоть слово, оно непременно разрушит ту удивительную тишину, которая всё ещё жила внутри меня.

Я украдкой посмотрела на Михаэля.

Весенний ветер легко трепал полы его длинного подрясника.

Теперь, при ярком дневном свете, было проще разглядеть то, чего я раньше почему-то никогда не замечала.

За последний год он стал совсем взрослым.

Черты лица сделались строже. Исчезла подростковая угловатость. Тёмные волосы, которые ветер упрямо сбрасывал ему на лоб, отливали на солнце каштаном. На подбородке уже появилась едва заметная тень первой щетины, отчего он выглядел старше своих двадцати одного года. Даже ладони изменились - широкие, с тонкими длинными пальцами. Ладони человека, привыкшего одинаково бережно держать и молитвенник, и хирургический инструмент.

"Неужели он всегда был таким?.. Или я просто никогда раньше не смотрела?"

Словно почувствовав мой взгляд, Михаэль повернул голову.

Я поспешно сделала вид, будто рассматриваю витрину книжной лавки.

- Что?

Я даже не сразу поняла, что он обращается ко мне.

- Ничего.

Он слегка улыбнулся.

- Тогда почему ты смотришь на меня уже половину улицы?

Кровь мгновенно прилила к щекам.

- Я не смотрю.

- Правда?

- Правда.

- Значит, мне показалось.

Я облегчённо выдохнула.

- ...Но тогда почему ты покраснела?

Я остановилась.

- Михаэль!

Он тихо рассмеялся. Совсем беззлобно. Так смеются люди, которые знают тебя слишком давно.

- Прости.

- Нисколько не смешно.

- Немножко смешно.

Я отвернулась, стараясь придать лицу самое серьёзное выражение из всех возможных.

- Не разговаривай со мной.

Он сделал два шага рядом.

- Совсем?

Я молчала.

- Даже до книжной лавки?

Я всё ещё не смотрела на него.

- Лютик...

Это прозвище прозвучало совсем иначе, чем раньше. Тише. Бережнее. Так, будто он не просто хотел обратить на себя внимание, а боялся по-настоящему меня расстроить.

Я всё-таки подняла голову. Он уже не улыбался. Лишь смотрел на меня тем спокойным, внимательным взглядом, который всегда появлялся у него, когда он чувствовал, что сказал лишнее.

- Не сердись.

И почему-то именно в эту минуту я поняла, что совсем не умею долго обижаться на Михаэля.

Это было ужасно несправедливо.

Мы пошли дальше уже медленнее.

Я всё ещё сердилась. Совсем немного. Скорее из упрямства, чем по-настоящему. Но чем дольше длилось молчание, тем сильнее мне казалось, что виноватой становлюсь уже я.

Он остановился возле небольшой витрины книжной лавки и, будто совершенно случайно, кивнул в её сторону.

- Новые книги.

Я сделала вид, что меня это совершенно не интересует.

- Правда?

- Правда. Иди посмотри.

Я выдержала ровно три секунды.

Потом всё-таки повернула голову.

За чистым стеклом действительно появились новые издания. Толстый медицинский атлас в тёмно-зелёном переплёте. Несколько романов, переведённых с французского. Новое издание Священного Писания с золочёным обрезом страниц. И тоненькая книга с ботаническими иллюстрациями, где на обложке была нарисована ветка цветущего миндаля.

Я сама не заметила, как подошла почти вплотную к стеклу.

- Красивая... - тихо вырвалось у меня.

- Я так и думал.

Я обернулась.

- Что?

- Что ты первым делом заметишь именно её.

- Почему?

- Потому что в прошлый раз ты десять минут рассказывала мне, почему художник неправильно нарисовал лепестки шиповника.

Я смущённо улыбнулась.

- Они действительно были неправильные.

- Не спорю.

- Там было пять лепестков.

- Да.

- А должно быть...

- Лютик.

Он рассмеялся.

- Не начинай.

Я невольно засмеялась вместе с ним.

Мы вошли внутрь.

Колокольчик над дверью тихо звякнул.

В лавке пахло старой бумагой, древесиной, типографской краской и совсем немного - сушёной лавандой. Господин Браун, хозяин магазина, уверял, что кладёт её между полками, чтобы книги не отсыревали. Я подозревала, что настоящая причина была гораздо проще: ему самому нравился этот запах.

- Доброе утро, юная госпожа Вайс, - приветливо произнёс он, поправляя круглые очки.

- Доброе утро.

- И вам, господин семинарист.

Михаэль слегка склонил голову.

- Мир вашему дому.

- И вашему.

Пожилой книготорговец вдруг загадочно улыбнулся.

- Кажется, сегодня я дождался именно тех людей, которых хотел увидеть.

Он исчез за высокой стойкой, а спустя несколько секунд вернулся с небольшой книгой в синем тканевом переплётё.

- Только вчера получил.

Он протянул её мне.

- «Лекарственные растения Эдельских гор».

Я осторожно провела пальцами по тиснёной обложке. Сердце радостно дрогнуло.

- Можно?

- Конечно.

Я открыла первую страницу. Подробные рисунки растений были выполнены так искусно, что казалось, будто цветы только что сорвали на горном склоне. Возле каждого вида стояли пометки: где растёт, когда цветёт, какие части используют лекари и аптекари.

Я совершенно перестала замечать всё вокруг.

- Великолепно... - почти прошептала я.

- Знал, что понравится.

Я подняла глаза.

- Вы специально заказали её?

- Не я.

Господин Браун хитро улыбнулся и посмотрел куда-то мне за плечо. Я медленно обернулась. Михаэль заметно смутился.

- Это была всего лишь просьба, - негромко сказал он.

- Ты заказал её?

Он пожал плечами так, словно ничего особенного не произошло.

- В прошлый раз ты сказала, что мечтаешь увидеть хороший определитель местных растений.

- Но... это же дорого.

- Не настолько, чтобы хорошие книги не находили своего читателя.

Я несколько секунд молча смотрела на него. Он произнёс эти слова так спокойно, будто речь шла о самой обыкновенной вещи на свете. Но почему-то именно сейчас мне впервые захотелось узнать, сколько мелочей он помнит обо мне.

Он ведь запомнил. Не просто разговор. Не просто название книги. Он запомнил мою мечту. И от этой мысли в груди стало удивительно тепло.

Я осторожно закрыла книгу.

- Спасибо...

Михаэль чуть улыбнулся.

- Пока ещё не за что.

- Почему?

- Потому что сначала её нужно дочитать.

Я рассмеялась.

- Тогда обещаю.

- Что?

- Если найду хоть одну ошибку, обязательно расскажу тебе первой.

- В этом я даже не сомневался.

Мы вышли из книжной лавки не сразу.

Пока господин Браун тщательно заворачивал книгу в плотную серую бумагу и перевязывал её тонкой льняной бечёвкой, я ещё несколько раз успела открыть её наугад, вдохнуть терпкий запах свежей типографской краски и украдкой провести пальцами по цветным иллюстрациям. Новые книги пахли совсем иначе, чем старые. В них ещё не было чужих рук, слу-

чайно загнутых уголков страниц, карандашных пометок на полях и засушенных цветов между листьями. Они пахли обещанием.

- Не зачитывайся допоздна, - добродушно произнёс господин Браун, передавая мне аккуратный свёрток. - Иначе профессор Вайс опять будет ворчать, что я отвлекаю его дочь от сна.

- Он ворчит не на вас.

- А на кого же?

Я посмотрела на Михаэля.

- На меня.

- Совершенно справедливо, - невозмутимо ответил тот.

- Предатель.

- Реалист.

- Семинарист.

- Это почти одно и то же.

Господин Браун тихонько покачал головой, наблюдая за нами поверх очков. На его лице появилась едва заметная улыбка человека, который прожил долгую жизнь и давно научился замечать то, чего ещё не замечают сами молодые люди. Но, к счастью для нас обоих, он ничего не сказал.

От книжной лавки до дома было всего несколько минут неспешной ходьбы.

Мы свернули на улицу Липовых Садов - одну из самых тихих в Лихтенбурге. Старые платаны ещё не успели покрыться густой листвой, и сквозь их ветви свободно пробивалось весеннее солнце. Свет ложился на мостовую золотистыми пятнами, медленно скользил по стенам домов, цеплялся за кованые балконы и медные водостоки.

Мимо нас неторопливо проехал молочник, приветливо коснувшись пальцами полей своей шляпы.

У колодца две женщины обсуждали цены на муку и новую учительницу городской школы.

На крыльце небольшого дома старик в жилете осторожно красил ставни густой зелёной краской.

Всё вокруг дышало той самой размеренной жизнью, которая кажется вечной, пока однажды не исчезает.

- Ты давно не была в библиотеке семинарии, - неожиданно сказал Михаэль.

Я прижала книгу к груди.

- Папа почти не отпускает меня.

- Знаю.

- Говорит, сейчас слишком много работы.

- И он прав.

Я тихо вздохнула.

- Иногда мне кажется, что книг я вижу меньше, чем человеческих внутренностей.

Михаэль тихо рассмеялся.

- Такое сравнение мог придумать только будущий хирург.

- Зато честно.

Он покосился на меня.

- И сколько внутренних органов ты сегодня уже успела увидеть?

- Пока ни одного.

- Тогда день ещё можно считать удачным.

- Посмотрим, что скажет папа.

Некоторое время мы снова шли молча. Он вдруг замедлил шаг.

- Лютик.

- М-м?

- Можно спросить?

- Конечно.

Он некоторое время будто подбирал слова. Это случалось редко. Обычно мысли рождались у него спокойно и сразу.

- Почему медицина?

Я удивлённо посмотрела на него.

- В каком смысле?

- Ты могла бы заниматься чем угодно. Учиться музыке. Рисовать. Изучать языки. Даже ботаника нравится тебе не меньше анатомии. Почему именно хирургия?

Я не ответила сразу. Вопрос оказался неожиданно трудным и одновременно слишком предсказуем для дочери главного хирурга.

Мы уже почти дошли до набережной. Вода в Лихте спокойно несла отражения белых облаков, а лёгкий ветер приносил запах молодой ивы и сырого речного камня.

Я опёрлась ладонями о холодные перила моста.

- Наверное... потому что боюсь.

Он встал рядом.

- Чего?

Я смотрела на реку.

- Что однажды рядом окажется человек, которому можно помочь...а я не смогу.

Михаэль ничего не сказал.

Я продолжила почти шёпотом:

- Когда папа возвращается после операций, иногда кажется, будто он принёс домой чью-то чужую жизнь. Не свою. Спасённую. И каждый раз я думаю... "*Я тоже так хочу.*" Не ради славы. Не ради уважения. Даже не ради науки. Просто... Чтобы однажды кто-нибудь смог вернуться домой.

Очень долго Михаэль молчал. Потом негромко произнёс:

- Значит, мы с тобой всё-таки похожи.

Я вопросительно посмотрела на него. Он тоже смотрел на реку.

- Только ты хочешь спасать людей до того, как они встретятся с Богом.

Он слегка улыбнулся.

- А я... после того.

И почему-то именно в этот момент мне показалось, что между врачом и священником действительно нет той пропасти, о которой так любят спорить взрослые. Есть лишь два человека. И два разных пути. К одной и той же надежде.

Дом показался из-за молодых яблонь почти сразу.

Солнечный свет ложился на светлый известняк фасада, и от этого казалось, будто стены сами хранят тепло. Окна первого этажа были распахнуты настежь. Из кухни доносился запах свежее испечённого хлеба и пряных трав, которые экономка госпожа Марта неизменно добавляла в суп, сколько бы отец ни уверял её, что врачи должны питаться проще.

Едва мы открыли калитку, дверь дома распахнулась.

- Я уже собирался отправлять за вами санитаров.

Отец стоял на крыльце, застёгивая тёмный сюртук поверх безукоризненно белой рубашки. В свои сорок пять лет Лука Вайс выглядел моложе многих коллег. Высокий, широкоплечий, с прямой осанкой человека, привыкшего часами стоять у операционного стола. Светло-русые волосы уже начали серебриться на висках, но густые брови и ясные серо-голубые глаза придавали его лицу удивительную живость. Когда он улыбался, в уголках глаз появлялись тонкие морщинки - не от возраста, а от привычки часто улыбаться людям.

Единственное, что неизменно выдавало в нём хирурга, - руки.

Крупные, сильные, с тонкими белыми шрамами на костяшках пальцев и коротко остриженными ногтями. Руки человека, который ежедневно держал чужую жизнь буквально между ладонями.

Он перевёл взгляд на свёрток у меня в руках.

- Полагаю, господин Браун снова разорил мой кошелёк?

Я поспешно спрятала книгу за спину.

- Не совсем...

Михаэль едва заметно кашлянул. Отец посмотрел сначала на меня, потом на него. И вдруг понимающе улыбнулся.

- А-а...

Он ничего больше не сказал. Лишь подошёл ближе, мягко потрепал меня по макушке, как делал с самого детства, и, проходя мимо Михаэля, негромко произнёс:

- Спасибо.

Михаэль немного растерялся.

- За что?

- За то, что иногда исполняешь мои обязанности раньше меня.

Он явно хотел возразить, но Лука уже сделал вид, будто разговор окончен.

- Ладно, дети. Любоваться книгами будете вечером.

Он достал из кармана часы, откинул крышку и нахмурился.

- Госпиталь сегодня решил не ждать моего появления.

- Что случилось? - сразу спросила я.

- Пока ничего необычного.

Но после короткой паузы он всё же добавил:

- С южной заставы привезли нескольких солдат.

- Серьёзно ранены?

- Один с переломом бедра после падения с лошади. Двое с огнестрельными. Ещё один... с довольно странной раной.

Я насторожилась.

- Странной?

Лука задумчиво покачал головой.

- Не сама рана. То, как она выглядит спустя всего сутки. Будто воспаление развивается слишком быстро.

Он говорил спокойно. Скорее вслух размышлял, чем тревожился.

- Возможно, просто грязь попала глубже обычного. Посмотрим после обработки.

Он уже направился к воротам, но вдруг остановился.

- Люция.

- Да?

- Если закончишь читать новую книгу раньше меня...

Он улыбнулся.

- Сделай закладки на всём, с чем будешь спорить.

Я рассмеялась.

- Это почти вся книга.

- Вот и прекрасно. Лучшие разговоры начинаются именно с этого.

Он легко коснулся моего плеча и быстрым шагом направился к госпиталю.

А я ещё долго смотрела ему вслед.

Госпиталь Святой Агнессы жил своей привычной жизнью.

Ещё издали слышался перестук колёс санитарной повозки, голоса носильщиков и размеренный звон хирургических инструментов, которые сестра Мария раскладывала на металли-

ческого подносе. Из распахнутых окон доносился запах кипящей воды, влажного льна и свежей извести - накануне в одном из коридоров вновь белили стены.

Как только мы вошли во внутренний двор, я сразу поняла: отец оказался прав.

День уже перестал быть спокойным.

Возле приёмного покоя стояла армейская повозка. Две лошади тяжело перебирали копытами, покрытые дорожной пылью. Молодой санитар осторожно помогал спуститься раненому солдату, левая штанина которого была насквозь пропитана кровью.

- Осторожнее! - раздался раздражённый голос. - Не за плечо, за пояс держите! Вы же ему сейчас всю кость снова сдвинете!

Доктор Клейн стремительно вышел на крыльцо.

Невысокий, плотный мужчина лет пятидесяти с аккуратно подстриженными седыми усами и неизменно нахмуренным выражением лица. Казалось, он сердился даже тогда, когда пребывал в прекрасном настроении. Очки всё время сползали на кончик его длинного носа, и каждые несколько минут он привычным движением возвращал их обратно.

Он был прекрасным хирургом. И совершенно не умел разговаривать с людьми.

- Господин профессор ещё не пришёл? - спросил он, заметив нас.

- Уже здесь, - спокойно ответил Лука, поднимаясь по ступеням.

Клейн облегчённо выдохнул.

- Тогда взгляните сами. Огнестрельное ранение бедра. Пулю мы пока не трогали.

Отец коротко кивнул.

- Правильно.

Он быстро подошёл к носилкам.

Я уже собиралась последовать за ним, когда чья-то ладонь неожиданно преградила мне дорогу.

- Куда?

Доктор Беккер.

Самый молодой врач госпиталя. Не старше тридцати. Высокий, худощавый, с идеально уложенными светлыми волосами и таким безукоризненно чистым воротничком, словно он только что вышел не из перевязочной, а с университетской лекции.

Он посмотрел на меня поверх круглых очков.

- Детям здесь не место.

Я уже открыла рот, но Лука ответил раньше.

- Люция работает со мной.

- Ей четырнадцать.

- Верно.

- Она ребёнок.

- Верно.

Беккер развёл руками.

- Тогда объясните мне, Лука, почему ребёнок присутствует почти на каждой операции?

Отец даже не обернулся. Он продолжал внимательно осматривать рану солдата.

- Потому что однажды она станет врачом.

- Если станет.

- Станет.

Это прозвучало так спокойно и уверенно, что спорить стало почти невозможно. Но Беккер всё-таки попробовал.

- Практику можно начать и позже.

Лука наконец поднял голову.

- А сострадание?

Молодой врач замолчал. Отец продолжил уже мягче:

- Медицине учатся не только по книгам, коллега. Ей учатся, наблюдая. Ошибаясь. Задавая неудобные вопросы. Если начать слишком поздно, человек научится лечить болезнь, но так и не научится видеть больного.

Я почувствовала, как внутри стало тепло. Не потому, что отец снова заступился за меня. А потому, что он сказал это так, словно действительно верил каждому своему слову.

Доктор Беккер перевёл взгляд на меня.

- Хорошо. Тогда посмотрим, насколько внимательно ваша ученица умеет наблюдать.

Он указал на ногу раненого.

- Ну же. Что ты видишь?

Я шагнула ближе. Колено было цело. Пуля вошла значительно выше. Края раны уже начали темнеть, кожа вокруг заметно отекала, а ткань мундира буквально въелась в подсохшую кровь. Запах...

Я невольно нахмурилась. Что-то было не так. Совсем не так.

Я медленно вдохнула ещё раз. Это был не просто запах крови. Он отдавал сладковатой сыростью. Так пахли ткани, которые отец однажды показал мне после тяжёлого воспаления.

- Начинается омертвление, - тихо сказала я.

Во дворе неожиданно стало совсем тихо. Беккер удивлённо посмотрел сначала на меня, потом на Луку. Отец едва заметно улыбнулся. Совсем уголками губ.

- Именно это я и надеялся услышать.

Потом он снова перевёл взгляд на рану. И впервые за всё утро в его глазах появилась настоящая сосредоточенность.

- Быстро в операционную. Времени у нас значительно меньше, чем казалось минуту назад.

Операционную начали готовить ещё до того, как носилки пересекли порог.

- Горячую воду!

- Новые простыни!

- Лампы ближе к столу!

Слова разлетались по комнате быстро, но без суеты. Каждый знал своё место. В госпитале Святой Агнессы отец не терпел паники. Он часто повторял, что тревога заразительнее любой болезни и распространяется быстрее крови.

Сестра Мария уже раскладывала на длинном столе инструменты. Медь блестела в солнечных лучах, проникавших сквозь высокие окна. В большом котле продолжала кипеть вода. Над ней клубился густой пар.

Я привычно подошла к умывальнику. Сначала мыло. Потом горячая вода. Жёсткая щётка под ногтями. Чистое полотенце. Только после этого - перчатки. Я уже собиралась завязать маску, когда за спиной послышался тяжёлый вздох.

- Опять начинается...

Доктор Клейн говорил это не зло. Скорее устало.

- Лука, неужели без этих тряпок действительно нельзя?

Отец спокойно завязывал тесёмки у себя на затылке.

- Можно.

Клейн вопросительно поднял брови.

- Но тогда и оперировать можно грязными руками.

Несколько молодых врачей тихо переглянулись. Кто-то едва заметно усмехнулся. Но никто не снял маску.

За последние месяцы спорить с профессором Вайсом стали значительно реже. Не потому, что все с ним соглашались. А потому, что слишком многие начали замечать одну странную закономерность. Пациенты его отделения выздоравливали чаще. Никто пока не понимал

почему. Сам Лука тоже не понимал. Он лишь видел это снова и снова. И не собирался отказываться от того, что, возможно, однажды удастся объяснить.

Солдата осторожно уложили на спину.

Он был совсем молодым. Не старше Михаэля.

Русые волосы прилипли ко лбу от пота, а губы побелели так сильно, что почти сливались с лицом. Несмотря на боль, он пытался держаться прямо и лишь крепче сжимал деревянный крестик, висевший на шее.

- Имя? - спокойно спросил Лука.

- Пэтер... Пэтер Энгель. Девятнадцать лет. Пограничная рота.

- Упал?

Санитар покачал головой.

- Говорит, сначала упал конь. Потом прозвучал выстрел. Пуля прошла навывлет.

Лука осторожно осмотрел входное и выходное отверстия.

- Нет. Не навывлет.

Все удивлённо посмотрели на него. Он уже осторожно ощупывал бедро.

- Пуля изменила направление после столкновения с костью. Осталась внутри.

Доктор Беккер нахмурился.

- Но выходное отверстие...

- Это разрыв тканей. Не выход.

Он говорил спокойно, словно объяснял студентам хорошо знакомую задачу. Я внимательно следила за каждым движением.

- Люция.

- Да?

- Что будем делать первым?

Я почувствовала, как на меня одновременно посмотрели сразу несколько врачей. Словно ожидали ошибки.

- Остановим кровотечение.

- Хорошо. Что потом?

- Найдём пулю.

Отец слегка покачал головой.

- Нет.

Я растерялась. Он видел это. И потому сразу объяснил:

- Если искать пулю, пациент может умереть раньше, чем мы её найдём. Сначала жизнь.

Потом причина. Запомни.

Эти слова он произнёс уже значительно тише. Только для меня.

Я кивнула.

- Простите.

- Никогда не извиняйся за неправильный ответ. Извиняются за равнодушие. Ошибки исправляют.

Профессор повернулся к остальным.

Солдат едва заметно кивнул. Сестра Мария уже поднесла пропитанную эфиром маску. Несколько глубоких вдохов. Веки медленно опустились.

Комната стала необычайно тихой.

- Начинаем.

Все заняли свои места. Я привычно встала справа от отца. Доктор Клейн - напротив. Беккер готовил инструменты. Лука протянул руку.

- Скальпель.

Я вложила инструмент ему в ладонь ещё до того, как он закончил фразу. Он едва заметно кивнул. Первый разрез лёг точно по ходу уже существующей раны. Тёмная кровь выступила

сразу. Не так много, как я ожидала. И это насторожило отца сильнее, чем если бы её оказалось слишком много.

- Крючки.

Я подала. Ткани медленно разошлись. Запах усилился. Сладковатый. Тяжёлый. Непривычный.

Доктор Беккер нахмурился.

- Началось нагноение?

- Пока нет, - коротко ответил Лука.

Он осторожно раздвигал ткани длинным пинцетом.

- Свет ближе.

Я подвинула отражатель.

Свинцовая пуля показалась почти сразу. Застряла глубоко между мышечными волокнами.

- Щипцы.

Металл тихо звякнул.

Через несколько секунд маленький серый кусочек свинца лёг на эмалированный поднос.

Все облегчённо выдохнули. Но отец продолжал молчать. Он не торопился зашивать рану. Вместо этого внимательно рассматривал окружающие ткани. Потом осторожно коснулся их кончиком пинцета. Мышца почти не кровоточила.

- Странно... - едва слышно произнёс он.

Доктор Клейн наклонился ближе.

- Что именно?

- Видите цвет?

Клейн прищурился. Некоторые участки действительно выглядели иначе. Не ярко-красными, какими должны были быть живые ткани, а тусклыми, сероватыми.

- Ушиб, - предположил Беккер.

- Возможно.

Лука не спорил. Но и не соглашался. Он медленно иссёк несколько небольших участков повреждённой мышцы.

- Лучше убрать всё, что вызывает сомнение.

- Не слишком ли много? - осторожно заметил Клейн.

- Возможно.

Отец спокойно продолжал работу.

- Но лучше человек будет немного хромать, чем мы оставим внутри то, что убьёт его через неделю.

Никто больше не возражал.

Я молча наблюдала за каждым его движением. Он никогда не спешил. Даже тогда, когда счёт шёл на минуты. Каждый разрез был точным. Каждый узел - одинаковым. Каждое решение принималось так, словно перед ним лежал не незнакомый солдат, а самый близкий человек.

И именно в этот момент я вдруг поняла, чему на самом деле учусь рядом с ним. Не хирургии. Её можно прочитать в книгах. Я училась ответственности.

Той самой, из-за которой врач иногда вынужден сделать человеку больно, чтобы дать ему шанс жить.

Когда последний шов был затянут, Лука снял перчатки и ещё раз посмотрел на лежащего без сознания юношу. Затем перевёл взгляд на поднос, где рядом с окровавленными салфетками лежала извлечённая пуля.

Он долго молчал. Слишком долго.

- Профессор? - негромко позвал Клейн.

Лука словно очнулся. Ещё раз посмотрел на рану. Потом тихо произнёс, скорее самому себе, чем окружающим:

- Нет... Это не сама пуля. Что-то здесь ведёт себя неправильно.

И впервые за всё утро мне показалось, что отец смотрит не на раненого солдата. А словно пытается разглядеть то, чего пока не видел никто из нас.

Солдата осторожно перевезли в послеоперационную палату.

Как только дверь за носилками закрылась, напряжение, державшее операционную все последние полтора часа, будто одновременно покинуло комнату.

Доктор Беккер устало снял очки и потёр переносицу.

Сестра Мария собирала окровавленные простыни.

Я складывала инструменты в большой медный таз для кипячения, стараясь раскладывать их в том порядке, в каком учил отец. Скальпели отдельно. Крючки отдельно. Иглы - только после пересчёта.

- Не понимаю, - первым нарушил молчание Клейн. - Пуля пробыла внутри меньше суток. Для такого воспаления слишком рано.

Лука вытирал руки чистым льняным полотенцем.

- Именно.

- Может, лошадь протащила его по земле?

- Возможно.

- Или ткань мундира занесла грязь.

- Тоже возможно.

Беккер подошёл к подносу, где всё ещё лежала извлечённая пуля.

- Я бы назначил обильные припарки.

Клейн кивнул.

- И ежедневно промывал рану раствором карболовой кислоты.

- Слишком крепким раствором, - спокойно заметил Лука.

- Он уничтожает гниение.

- Вместе с живой тканью.

Беккер чуть нахмурился.

- Но нас именно так учили.

- Меня тоже.

Лука устало улыбнулся.

- Не всё, чему нас учили, одинаково полезно для больного.

Доктор Клейн пожал плечами.

- Тогда что предлагаешь ты?

- Чистоту.

- И всё?

- Иногда этого достаточно.

- А иногда нет.

- Именно поэтому мы и наблюдаем.

Ответ был настолько спокойным, что спор неожиданно угас сам собой.

Я уже собиралась перенести таз к плите, когда заметила, как молодой санитар, торопясь, положил использованный пинцет прямо поверх чистых салфеток. Совсем машинально. Так, словно не придавал этому никакого значения.

- Нет!

Мой голос прозвучал неожиданно громко. Все одновременно обернулись. Я быстро подошла к столику, подняла салфетки и отложила их в сторону.

- Они больше не чистые.

Санитар растерянно заморгал.

- Да там всего лишь...

- Не важно сколько.

Я сама удивилась тому, как твёрдо прозвучал мой голос.

- Если инструмент уже был в ране, он больше не должен касаться перевязочного материала.

- Девочка...

Он явно собирался отмахнуться. Но я уже смотрела прямо ему в глаза.

- Отец всегда говорит, что мы не можем увидеть всю грязь. Это не значит, что её нет.

На несколько секунд в комнате стало тихо. Я вдруг поняла, что сказала это слишком резко. Слишком по-взрослому.

Доктор Беккер тихо усмехнулся.

- Посмотрите-ка. Профессор растит себе смену.

Я уже открыла рот, ожидая очередной колкости. Но Лука заговорил раньше.

- Нет.

Он подошёл к столику и сам убрал остальные салфетки.

- Она права.

Он посмотрел на санитаря спокойно, без раздражения.

- Мы все торопимся. Именно поэтому правила существуют не для удобных дней, а для тяжёлых.

Санитар смущённо опустил голову.

- Простите, профессор.

- Не передо мной. Перед следующим пациентом.

Эти слова прозвучали совсем негромко. Но почему-то именно после них молодой санитар аккуратно заново приготовил весь перевязочный стол, уже не пропуская ни одной мелочи.

Доктор Клейн наблюдал за этим, задумчиво покручивая в пальцах оправу своих очков.

- Знаешь, Лука...

Он говорил медленно, словно размышляя вслух.

- Лет пять назад я бы сказал, что ты просто слишком осторожен.

Отец вопросительно посмотрел на него. Клейн едва заметно улыбнулся.

- А сегодня поймал себя на мысли, что начинаю проверять собственные руки перед каждой операцией.

Лука тихо рассмеялся.

- Значит, я старею.

- Нет.

- Тогда что?

- Похоже, ты оказался достаточно упрямым, чтобы заразить этой привычкой весь госпиталь.

Отец ничего не ответил. Лишь посмотрел в большое окно операционной.

Во дворе уже остановилась ещё одна санитарная повозка. На этот раз с неё помогли спуститься не солдату. А пожилому мужчине, которого мучил сильный кашель.

Лука проводил его долгим внимательным взглядом. Потом спокойно надел чистый фартук.

- Что ж...

Он протянул руку за следующей парой перчаток.

- Наш день только начинается.

К полудню госпиталь окончательно перестал различать часы.

Пациенты сменяли друг друга так быстро, что время измерялось уже не ударами башенных часов, а количеством вымытых инструментов, исписанных историй болезни и тазов с остывающей водой.

После солдата поступил старик с ущемлённой грыжей. Затем мальчишка лет десяти, сорвавшийся с яблони. Потом каменщик, которому на ногу обрушилась известковая плита. Каждый приносил с собой свою боль. И каждый был уверен, что именно его боль сейчас самая большая.

Отец никогда не спорил. Для него так оно и было.

Я уже в третий раз меняла воду для инструментов, когда Лука неожиданно снял очки и устало потер переносицу.

Это случалось редко. Очень редко.

- Люция.

- Да, папа?

- Когда ты сегодня ела?

Я растерялась.

- Утром...

- Во сколько?

Я задумалась.

- Не помню.

Он кивнул так, словно именно этого ответа и ожидал.

- Значит, давно.

- Я не голодна.

- Верю.

Он улыбнулся.

- Но желудок, к сожалению, не всегда советуется с головой.

Я невольно улыбнулась в ответ.

- Пап...

- Это приказ. Не профессора. Отца. Иди. Пообедай. Погуляй хотя бы полчаса. Пока не привезли следующих пациентов.

- Но вдруг...

- Люция.

Он посмотрел на меня тем самым взглядом, против которого невозможно было спорить. Не строгим. Любящим.

- Если врач забудет заботиться о себе, однажды ему станет нечем заботиться о других.

Я тяжело вздохнула.

- Хорошо...

- Вот и умница.

Он привычным движением поправил выбившуюся прядь моих волос.

- И передай госпоже Грете, что я всё-таки съем её пирог.

- Даже если он с капустой?

Лука сделал вид, будто задумался.

- Ради науки...Пожалуй, рискну.

Я рассмеялась.

- Передам.

- И ещё.

Я уже стояла в дверях.

- Да?

- Не возвращайся бегом. Хотя бы сегодня побудь просто четырнадцатилетней девочкой.

Не всё время будущим врачом.

Эти слова почему-то задержались в памяти сильнее многих его наставлений.

Покинув госпиталь, я впервые за весь день почувствовала весеннее солнце.

Город жил своей обычной жизнью.

На площади мальчишки гоняли самодельный кожаный мяч, совершенно не обращая внимания на сердитые окрики торговцев.

Из открытых окон музыкальной школы доносились неуверенные гаммы. Кто-то снова ошибался. И снова начинал сначала.

Я невольно улыбнулась. Наверное, именно так и устроена жизнь. Ошибаешься. Учишься. Пытаешься ещё раз.

Возле фонтана молодая женщина безуспешно пыталась одновременно удержать тяжёлую корзину и успокоить двух младенцев, мирно спавших в большой двойной коляске.

Одному из малышей едва исполнилось несколько месяцев. Второй постарше. Мальчик и девочка. Девочка неожиданно проснулась и тихонько захныкала.

Женщина беспомощно оглянулась по сторонам. Я сразу подошла.

- Позвольте, я помогу.

Она благодарно улыбнулась. Совсем молодая. Наверное, ей не было и двадцати трех.

Под глазами уже легли лёгкие тени усталости, но стоило ей посмотреть на детей, как лицо мгновенно становилось удивительно светлым.

- Спасибо вам.

Я осторожно придержала корзину, пока она поправляла одеяло. Девочка почти сразу успокоилась.

- Какая красавица, - тихо сказала я.

- Это Анна.

Женщина ласково коснулась маленькой ладошки.

- А этот соня...

Она посмотрела на мальчика.

- Август. Он всегда спит крепче сестры.

Я невольно улыбнулась.

- Очень красивые имена.

- Их выбирал муж.

Она произнесла это с такой нежностью, что я даже не заметила, как сама начала улыбаться вместе с ней. Несколько минут спустя мы попрощались. Я ещё долго смотрела вслед медленно удалявшейся коляске.

Двое малышей мирно спали, не подозревая, каким огромным и непредсказуемым окажется мир, в который они родились.

А затем я поправила ремешок сумки и направилась к булочной госпожи Греты, где меня уже наверняка ждал обещанный отцу пирог.

Колокольчик над дверью булочной весело звякнул.

Стоило войти внутрь, как меня тут же окутало густое тепло печей. Здесь всегда пахло одинаково - свежим хлебом, топлёным маслом, корицей, ванилью и совсем немного древесным дымом. Если бы меня когда-нибудь попросили описать счастье одним запахом, я бы без раздумий выбрала именно этот.

За длинным дубовым прилавком уже привычно хозяйничала госпожа Грета.

Она была женщиной удивительной наружности. Невысокая, полноватая, с румяными щеками и серебристыми волосами, которые неизменно собирала в тугий пучок под белоснежным чепцом. Её большие тёплые руки казались созданными либо для того, чтобы месить тесто, либо чтобы гладить детей по голове. Наверное, именно поэтому она одинаково хорошо справлялась и с первым, и со вторым.

Едва заметив меня, она всплеснула руками.

- Господи помилуй, наконец-то!

Я невольно остановилась.

- Что случилось?

- Она ещё спрашивает!

Госпожа Грета вышла из-за прилавка, упёрла руки в бока и смерила меня таким взглядом, каким, наверное, смотрели генералы на провинившихся новобранцев.

- Люция Вайс, ты опять забыла пообедать.

Я растерянно моргнула.

- Откуда...

- Потому что твой отец никогда не приходит за пирогом сам. Значит, отправил тебя. Значит, понял, что ты опять работаешь на одном чае.

Она тяжело вздохнула.

- Лука однажды сведёт себя в могилу своим упрямством.

Потом посмотрела на меня.

- А ты его своим.

Я не выдержала и улыбнулась.

- Мы стараемся.

- Вот именно это меня и пугает.

Она уже заворачивала ещё тёплый пирог в плотную бумагу.

- Это плохо?

Госпожа Грета подняла голову. Её взгляд неожиданно стал очень мягким.

- Нет, девочка. Очень страшно. Потому что люди вроде твоего отца никогда не умеют останавливаться вовремя.

Эти слова почему-то прозвучали тяжелее обычного.

Я молча приняла свёрток.

- Спасибо.

- Подожди.

Она снова скрылась в глубине булочной и почти сразу вернулась с ещё одной небольшой булочкой, покрытой тонкой сахарной глазурью.

- Это тебе.

- Но...

- Без разговоров. Если узнаю, что ты опять скормила её Михаэлю, больше не дам ни одной.

Я вспыхнула.

- Госпожа Грета!

- Что "госпожа Грета"?

Она лукаво улыбнулась.

- Думаешь, старые женщины ничего не замечают?

- Мы...

Я совершенно не знала, что ответить. Она тихонько рассмеялась.

- Вот именно. Пока ничего. Но время - очень интересная вещь.

Я поспешила выйти на улицу прежде, чем она успела сказать ещё что-нибудь. Свежий воздух приятно охладил разгоревшиеся щёки. За моей спиной ещё долго слышался её добрый смех.

Я сделала всего несколько шагов, когда у городского колодца меня остановил громкий спор.

- Да говорю тебе, через месяц всё закончится!

- Так же говорили и прошлой осенью.

- Это обычные приграничные стычки.

- Обычные? Уже третий эшелон проходит через станцию за неделю.

Двое мужчин оживлённо разговаривали, не замечая никого вокруг. Один был в рабочем фартуке кузнеца, второй - почтальоном, которого я часто видела разносящим письма по нашей улице.

- Император не допустит большой войны.

- А если уже поздно?

- Перестань пугать людей.

- Я не пугаю. Я просто умею считать.

Кузнец махнул рукой в сторону железной дороги.

- Всё больше солдат. Всё меньше торговых поездов. Это не случайность.

Несколько прохожих невольно замедлили шаг. Но почти сразу кто-то отмахнулся:

- Да перестаньте. Политики опять пошумят и успокоятся. Как всегда.

Разговор постепенно растворился в обычном городском шуме. Кто-то продолжил торговаться за овощи. Дети снова погнались за мячом. На башне ратуши пробило два часа. И только где-то далеко, почти на самой окраине города, едва слышно протяжно свистнул паровоз.

Я почему-то остановилась и прислушалась. Всего один долгий гудок. Такой привычный. Такой обыденный. Но отчего-то он показался мне гораздо тревожнее, чем все разговоры, которые я только что услышала.

Профессорский особняк встретил меня привычной тишиной.

Я всегда удивлялась тому, насколько по-разному может звучать дом. Утром он просыпался вместе с нами: потрескивали половицы, хлопали двери, гремела посуда на кухне, отец негромко насвистывал что-нибудь себе под нос, собираясь в госпиталь. Днём же, когда все расходились по своим делам, он будто начинал дремать. Сквозняк едва заметно шевелил кружевные занавески, старые часы размеренно отсчитывали секунды, а солнечные лучи лениво ползли по стенам, освещая фотографии, книжные шкафы и высокие растения в керамических кадках.

Я сняла плащ и только собиралась пройти на кухню, когда услышала знакомый голос.

- Ты всё-таки заставила госпожу Грету поверить, что мы тебя морим голодом?

Я обернулась.

Михаэль сидел у открытого окна гостиной, склонившись над толстой книгой в потёртом кожаном переплёте. Он уже успел переодеться после службы: длинный чёрный подрясник был аккуратно подпоясан, рукава закатаны до предплечий, словно он собирался не читать богословский трактат, а колоть дрова или носить воду.

Я вдруг поймала себя на мысли, что никогда прежде не рассматривала его настолько внимательно.

За последний год он сильно изменился.

Черты лица стали строже, подбородок - более выразительным, плечи - шире. Только глаза остались прежними: необыкновенно спокойными, тёплыми, с той редкой внимательностью, из-за которой человеку хотелось рассказывать ему даже то, о чём он не спрашивал.

Ему был двадцать один год.

Мне - четырнадцать.

Когда-то эта разница казалась пропастью. Теперь же... почему-то становилась всё меньше.

- Нет, - улыбнулась я, проходя в комнату. - Это она заставила меня поверить, что вы оба совершенно не умеете заботиться о себе.

- Очень похоже на неё.

Он закрыл книгу.

- И что ещё она сказала?

Я поставила на стол завернутый пирог.

- Что папа однажды загонит себя работой.

- Это правда.

- Потом сказала, что и я тоже.

- И это правда.

- А потом...

Я нарочно выдержала паузу.

- Потом она решила, что я всё время скармливаю тебе свою выпечку.

Михаэль сначала удивлённо моргнул. Потом неожиданно рассмеялся. Именно рассмеялся.

Не тихо улыбнулся, как обычно, а коротко, искренне, запрокинув голову.

- Госпожа Грета неисправима.

- Она сказала ещё кое-что.

- Даже боюсь спрашивать.

- Что старые женщины замечают гораздо больше, чем нам кажется.

Он посмотрел на меня чуть внимательнее.

- Это тоже правда.

Я прищурилась.

- Ты сегодня подозрительно со всеми соглашаешься.

- Просто за годы жизни понял одну вещь.

- Какую?

- Спорить с госпожой Гретой бесполезно. Она всё равно победит.

Я засмеялась.

- Да ты в принципе редко споришь!

Мы оба замолчали. Почти семь лет совместной жизни научили нас понимать друг друга без слов. Иногда мне казалось, что Михаэль чувствует моё настроение раньше, чем я сама успеваю его осознать.

Он посмотрел на свёрток.

- Она ведь снова положила что-нибудь ещё?

- Откуда ты знаешь?

- Потому что это госпожа Грета.

Я обречённо достала из кармана маленькую сахарную булочку. Михаэль победно улыбнулся.

- Видишь?

- Но она велела не отдавать её тебе.

- Какая жестокость.

- Сказала, если узнает - больше никогда мне ничего не даст.

Он сделал совершенно серьёзное лицо.

- Значит...

Он немного наклонился ко мне, словно собирался открыть величайшую тайну.

- Придётся съесть её самой.

Я не выдержала и тихо фыркнула.

- Ты ужасен.

- Мне об этом ещё в приюте говорили.

Слова сорвались с его губ легко. Слишком легко. Я увидела, как улыбка почти незаметно погасла. Совсем на мгновение. Будто где-то глубоко внутри всё ещё жил тот маленький мальчик, который привык заранее смеяться над собой, чтобы никто другой не успел сделать ему больно.

Мне вдруг захотелось сказать что-нибудь хорошее. Такое, что заставило бы его снова улыбнуться. Но дверь в прихожей открылась раньше.

Дом наполнился знакомыми шагами. Лука вернулся значительно раньше, чем мы ожидали. Он снял пальто, повесил шляпу на деревянную вешалку и, заметив нас обоих, остановился на пороге гостиной. Несколько секунд молча смотрел. Потом улыбнулся. Той самой улыбкой, которая появлялась у него только дома.

- Как же хорошо...

Он тихо выдохнул, будто говорил не нам, а самому себе.

- ...возвращаться туда, где вас двое всегда ждут.

И почему-то именно после этих слов я впервые подумала, что отец никогда не говорил: «мой дом». Он всегда говорил: «Наш дом».

- Так... - Лука медленно оглядел нас обоих. - Если вы сидите настолько тихо, значит, либо читаете, либо опять что-то замышляете.

- Мы обсуждали госпожу Грету, - честно призналась я.

- Тогда второе.

Он снял жилет, аккуратно повесил его на спинку стула и закатал рукава белой рубашки. Только дома он позволял себе выглядеть не профессором, а просто мужчиной. Высокий, широкоплечий, с сильными руками хирурга, покрытыми тонкими белесыми шрамами от случайных порезов.

Когда он надевал врачебный халат, казалось, что перед тобой человек, которого невозможно поколебать. Но дома становилось заметно другое. Он уставал. Не жаловался. Не говорил об этом. Но иногда, снимая очки, на несколько секунд закрывал глаза чуть дольше обычного.

- Папа, - сказала я, доставая тарелки из буфета. - Ты опять забыл пообедать.

- Не забыл.

- Значит?

- Отложил.

- До которого часа?

- До... - он посмотрел на часы, - оказывается, до нынешнего.

Я покачала головой.

- Между прочим, ты сам только что отправил меня есть именно потому, что желудок не советуется с головой.

Михаэль тихо кашлянул, пряча улыбку. Лука посмотрел сначала на него, потом на меня.

- Неужели я действительно такое говорил?

- Почти слово в слово.

- Какая неприятность...

Он театрально вздохнул.

- Собственные наставления начали использовать против меня.

- Так нечестно, профессор, - совершенно серьезно заметил Михаэль.

- Вот и ты туда же?

- Конечно.

- Предательство.

Я не удержалась и рассмеялась. Иногда мне казалось, что отец специально позволял нам вот так над ним подшучивать. Не потому, что не мог ответить. Потому что ему нравилось слышать наш смех.

Я поставила на стол пирог. Лука глубоко вдохнул аромат горячего теста.

- Всё-таки Грета знает страшное оружие.

- Какое?

- Невозможно грустить, когда пахнет свежей выпечкой.

Мы уселись за стол. Несколько минут в комнате слышались только тихий звон вилок да потрескивание дров в печи. Это были мои любимые минуты дня. Когда никто никуда не

спешил. Когда отец не держал в руках скальпель. Когда Михаэль закрывал книги. Когда дом наконец переставал быть продолжением госпиталя и церкви.

Лука неожиданно посмотрел на пирог внимательнее. Потом очень тихо улыбнулся.

- Забавно...

- Что?

Он провёл пальцами по краю тарелки.

- Твоя мама всегда разрезала пирог именно так.

Я замерла. В комнате стало необыкновенно тихо.

Михаэль незаметно опустил взгляд. Он прекрасно знал, что отец почти никогда не говорил о ней.

Лука словно очнулся. Поднял глаза на меня. В них появилось что-то очень мягкое. Очень далёкое.

- Прости...

- За что?

- Иногда воспоминания приходят раньше слов.

Я молчала. Мне было страшно нарушить эту тишину. Потому что казалось: если сейчас сказать хоть что-нибудь, отец снова закроет ту дверь, которую случайно приоткрыл. Он немного помолчал.

Затем тихо сказал:

- Знаешь... у тебя её улыбка.

Я почувствовала, как внутри что-то дрогнуло. За все четырнадцать лет жизни он ещё ни разу не говорил мне ничего подобного. И, наверное, впервые я пожалела, что совершенно не помню лицо женщины, которая подарила мне жизнь.

Лука заметил, как изменилось моё выражение. Он медленно протянул руку через стол и, совсем как в детстве, осторожно сжал мои пальцы.

- Не сегодня. Я расскажу тебе о ней. Обещаю. Но не сегодня.

Почему-то я сразу поверила.

Мы ещё долго сидели за столом, хотя пирог давно закончился.

Наверное, у каждого дома есть свои особенные минуты, ради которых человек возвращается с самой тяжёлой работы. Не праздники, не дни рождения, не торжественные ужины, а именно такие - простые. Когда чай успевает остыть, разговоры никуда не торопятся, а за окнами нет ничего важнее весеннего солнца.

Лука первым нарушил молчание.

- Михаэль.

- Да, профессор?

- Отец Конрад передал расписание пасхальных служб?

- Сегодня утром.

- Уже начинает переживать?

Михаэль едва заметно улыбнулся.

- Он никогда не признается, но да. Говорит, что если хотя бы один гимн прозвучит фальшиво, прихожане запомнят именно это.

Лука негромко рассмеялся.

- Значит, Конрад не меняется.

- Ни капли.

- Передай ему, что перфекционизм - это грех.

- Он ответит, что аккуратность - добродетель.

- Тогда скажи, что я готов спорить.

- Он тоже.

Я перевела взгляд с одного на другого. Каждый раз, когда они говорили об отце Конраде, мне становилось немного смешно. Со стороны могло показаться, будто всю жизнь они только и делают, что спорят. Но за этими спорами скрывалось нечто гораздо большее - уважение, которое не нуждалось в громких словах.

Лука поднялся из-за стола.

- Кстати... Михаэль.

- Да?

- Спасибо.

Тот удивлённо посмотрел на него.

- За что?

- За утреннюю службу.

Я непонимающе нахмурилась. Отец продолжил уже спокойнее:

- Сегодня ко мне перед операцией подошла одна женщина. Сказала, что после твоей проповеди впервые за несколько месяцев смогла уснуть спокойно.

Михаэль заметно смутился.

- Это не моя заслуга.

- Знаю.

- Тогда...

- Но именно ты оказался рядом, когда ей были нужны эти слова.

На несколько секунд Михаэль опустил глаза. Я вдруг подумала, что отец умеет хвалить так, что человеку становится неловко не от гордости, а от желания стать ещё лучше.

- Спасибо, - тихо сказал Михаэль.

- Нет.

Лука покачал головой.

- Это я благодарю тебя. Иногда хирург способен зашить рану. Но не способен вернуть человеку желание жить. Здесь ты сильнее меня.

Михаэль хотел что-то возразить. Но не успел.

Со стороны госпиталя послышался отчаянный крик.

- Профессор Вайс!

Во дворе застучали копыта. Потом ещё. И ещё.

Так быстро лошади никогда не приезжали.

Лука мгновенно изменился. Ещё секунду назад перед нами стоял отец. Теперь - главный хирург госпиталя. Он одним движением надел жилет, схватил пальто и уже на ходу застёгивал воротник.

- Михаэль!

- Я здесь.

- Подготовь операционную. Если потребуется - открой вторую.

- Понял.

- Люция.

Он посмотрел на меня. Совсем коротко. Но этого взгляда оказалось достаточно.

- Со мной.

Я уже бежала следом. Мы выскочили во двор одновременно. У ворот стояли две санитарные повозки. Не одна. Две. Первая была почти доверху залита кровью. Во второй сидели люди, поддерживая друг друга, кто за руку, кто за плечо.

У одного солдата насквозь промокла повязка на боку. Другой, совсем молодой, едва удерживался в сознании. Третий прижимал окровавленную ладонь к лицу.

Возле повозки стоял армейский фельдшер. Лицо его было серым от усталости.

- Профессор...

Он тяжело перевёл дыхание.

- На железной дороге... Сошёл с рельсов военный состав. Несколько вагонов...

Он не договорил. Потому что Лука уже поднялся в первую повозку. И впервые за сегодняшний день я увидела, как на лице отца исчезла даже тень улыбки.

Он быстро оглядел раненых. Затем негромко произнёс всего три слова:

- Начинаем сортировку пострадавших.

И госпиталь, который ещё несколько минут назад казался почти мирным, вновь превратился в сердце борьбы за человеческие жизни.

Глава 2

Глава II. Милосердие

*«Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою*

за друзей своих.» — Евангелие от Иоанна 15:13

Апрель 1914 года

Госпиталь Святой Агнессы

Первые минуты после поступления большого количества пострадавших никогда не были самыми громкими. Они были самыми быстрыми.

Стоило отцу произнести: «Начинаем сортировку пострадавших», как весь госпиталь пришёл в движение с той поразительной слаженностью, которая рождается не приказами, а многолетней привычкой работать рядом друг с другом.

Санитары уже снимали раненых с повозок. Военные фельдшеры на ходу передавали краткие сведения. Носилки исчезали за дверями быстрее, чем освобождались следующие. Никто не бегал. Никто не кричал.

Спешка существовала, паника — нет. В госпитале Святой Агнессы паника считалась такой же опасной ошибкой, как тупой скальпель.

— Огнестрельное ранение живота. Немедленно в первую операционную. Закрытый перелом бедра. Шину, затем в перевязочную. Следующего

Отец не задерживался возле пациентов дольше нескольких секунд. Сейчас его задачей было не лечить — определить, кому помощь нужна прежде остальных.

Я раскрыла приёмный журнал. Перо почти не отрывалось от бумаги. Фамилия. Возраст. Полк. Характер ранения. Куда направлен.

Дальше.

Дальше.

Дальше.

Чернила не успевали подсыхать.

Через несколько минут страницы покрылись буроватыми отпечатками. Только взглянув на собственные перчатки, я поняла, что это кровь. Чужая кровь постепенно смешивалась с чернилами, превращая аккуратные строки в размытые пятна.

Мне вдруг показалось, что сегодняшний день навсегда останется между этими страницами.

Возле первой операционной уже собрались врачи. Доктор молча натягивал перчатки. Доктор Беккер готовил перевязочный стол. Эрих Клейн проверял инструменты, бросая быстрые взгляды на вновь прибывавших.

За несколько минут через операционные прошло столько людей, сколько иной раз поступало за два обычных дня.

Пахло кровью. Эфиром. Горячей водой. Влажным льном. И человеческой усталостью.

Усталость тоже имеет запах.

Особенно там, где никто не имеет права ей поддаться.

Лишь спустя несколько часов поток раненых начал понемногу редеть.

Во дворе впервые стало слышно, как ветер качает молодые ветви старой липы.

Я только успела закрыть журнал, чтобы сменить испачканные страницы промокательной бумагой, когда входная дверь снова открылась. На этот раз никто не вносил носилки. Внутрь вошли четверо железнодорожных рабочих. Трое поддерживали четвёртого.

С первого взгляда он почти не отличался от остальных. Не был окровавлен. Не держался за живот. Не хромал. Только двигался удивительно медленно, будто каждый шаг требовал от него слишком больших усилий.

Когда мужчины приблизились, я заметила, что его лицо покрывает испарина. Не обычный пот человека, долго работавшего физически. А мелкие холодные капли, проступившие даже на висках.

Он тяжело дышал. Каждый вдох сопровождался коротким сухим кашлем.

— Простите...

Голос звучал хрипло.

— Нам сказали... обратиться сюда...

Один из его товарищей поспешно заговорил вместо него.

— Доктор, уже третий день жар. Ничего не помогает. Сегодня утром едва встал с постели.

Отец подошёл ближе.

— Работаете вместе?

— Да. На железной дороге.

— Остальные здоровы?

Мужчины переглянулись.

— Не совсем...

— Что значит «не совсем»?

— У двоих тоже температура. Но пока слабее.

Лука коротко кивнул.

— Помогите ему снять пальто.

Железнодорожник попытался сделать это сам. Рука неожиданно дрогнула. Пальто соскользнуло на пол.

Я машинально наклонилась поднять его. И именно тогда заметила то, чего прежде не видел никто.

Рукав рубашки задрался выше локтя. На внутренней стороне предплечья темнели мелкие багровые пятна. Не синяки. Не ссадины. Их было слишком много. Словно кто-то осторожно коснулся кожи кистью, оставив десятки крошечных винно-красных точек.

Я невольно нахмурилась.

— Папа...

Отец уже увидел. Он осторожно закатал рукав выше. Пятен оказалось значительно больше. Они поднимались почти до плеча. Некоторые уже начали сливаться между собой.

Доктор Беккер первым нарушил молчание.

— Странно...

Фогель тоже шагнул ближе.

— Аллергия?

— На что? — тихо произнёс Клейн.

Отец ничего не ответил. Он уже прикоснулся ладонью ко лбу больного. Затем попросил открыть рот. Осмотрел язык. Посветил маленьким фонариком в горло. Поднёс стетоскоп к груди.

Слушал долго. Необычно долго. Потом медленно перевёл его на спину. Ещё ниже. Ещё. Наконец снял трубки с ушей.

— Разденьте его полностью.

Мужчины помогли снять рубашку. И тогда тихо стало уже во всём приёмном покое.

Сыпь покрывала не только руки. Она расползлась по груди, бокам и шее, отдельными островками уходя к ключицам. На фоне лихорадочно покрасневшей кожи багровые пятна казались почти чернильными.

Я машинально перебирала в памяти болезни, о которых читала в книгах отца. Корь. Скарлатина. Брюшной тиф. Оспа.

Ни одна не совпадала полностью. При кори сыпь выглядела иначе. При скарлатине язык становился ярко-малиновым. При тифе пятен было значительно меньше. Что-то не складывалось. Совсем не складывалось.

Доктор Беккер задумчиво поправил очки.

— Может быть... тяжёлая форма скарлатины?

— Нет, — негромко возразил Фогель. — Слишком поздно появилась сыпь.

— Тогда корь?

— Не похожа.

— Тиф?

— И на тиф не похоже...

Врачи начали говорить одновременно. Каждый называл болезнь, которую уже когда-то видел. Каждый пытался уложить увиденное в рамки знакомого.

Отец продолжал молчать. Он ещё раз посмотрел на лицо пациента. На воспалённые глаза. На тяжёлое дыхание. На багровые пятна. И только потом очень спокойно произнёс:

— Я искренне надеюсь...

Он обвёл взглядом своих коллег.

— ...что кто-нибудь из вас сейчас окажется прав.

Никто не ответил. Потому что впервые за всё время каждый понял одну простую вещь. Никто из присутствующих не был в этом уверен.

Доктор Беккер ещё раз поправил очки.

— Возможно, какая-то разновидность скарлатины... Хотя возраст необычный.

— Или сыпной тиф, — задумчиво произнёс Фогель. — На железной дороге такое случилось.

— При тифе кашель редко бывает настолько сильным, — возразил Клейн.

Ни один не говорил с уверенностью. Скорее вслух проверял собственные знания, надеясь, что остальные подтвердят догадку.

Отец молчал. Он ещё раз осторожно приподнял веко пациента, наблюдая за реакцией зрачка, затем попросил показать ладони.

Я сразу поняла, что привлекло его внимание. Мелкие багровые точки были не только на руках. Они появились под ногтями. Совсем крошечные. Будто тончайшие уколы иглой.

Лука медленно отпустил руку мужчины.

— Доктор Беккер.

— Да, профессор?

— Подготовьте отдельную палату.

Все подняли головы. Фогель удивлённо нахмурился.

— Отдельную?

— Да.

— Вы считаете, что это заразно?

Отец ответил не сразу. Он никогда не позволял себе выдавать предположение за факт.

— Я считаю, — спокойно произнёс он, — что мы пока слишком многого не знаем.

Он повернулся к санитару.

— Чистое бельё. Новые простыни. Новый таз. Никому не использовать инструменты из этой палаты до повторного кипячения.

Санитар недоумённо замер.

— Даже если это обычная простуда?

— Особенно если это обычная простуда.

Доктор Фогель тихо усмехнулся.

— Профессор, вы скоро заставите нас кипятить воздух.

Лука посмотрел на него с той самой спокойной серьёзностью, которую я знала с детства.

— Если бы существовал способ сделать это, доктор, я бы первым попросил растопить котёл.

Никто не рассмеялся. Не потому, что шутка была плохой. Просто отец никогда не шутил о безопасности.

Он снова перевёл взгляд на пациента.

— Сейчас ему нужен покой. Снизить температуру холодными компрессами. Давать пить небольшими порциями. Следить за дыханием. Если начнётся кровохарканье или усилится сыпь — позовите меня немедленно.

— А диагноз? — спросил Беккер.

Лука снял перчатки. Долго смотрел на свои ладони, словно мысленно перебирая страницы десятков медицинских учебников, которые прочёл за жизнь.

Потом тихо ответил:

— Пока у нас есть только больной человек. Название болезни подождёт.

Он развернулся и уже собирался идти обратно в операционную, когда за его спиной снова раздался тяжёлый приступ кашля. На этот раз железнодорожник не успел поднести платок ко рту. Несколько алых капель упали прямо на белоснежную простыню.

В палате мгновенно стало тихо. Даже доктор Фогель перестал улыбаться.

Лука сделал всего один шаг вперёд. Не к крови. К глазам пациента. Потому что именно в них он увидел то, чего не хотел видеть ни один врач.

Страх человека, который чувствовал, что с его телом происходит что-то такое, чего не понимает никто вокруг.

Дверь приёмного покоя не успела закрыться за санитарями, как во дворе снова раздался грохот колёс. Потом ещё. И ещё.

Казалось, весь город внезапно решил собраться у ворот госпиталя.

Я машинально подняла голову к высоким окнам. На улице уже стояли три повозки. Нет... Четыре.

Люди не ждали своей очереди. Одни поддерживали под руки родных, другие сами тащили носилки, третьи просто стояли, прижимая к груди узлы с вещами, словно боялись, что их отправят обратно без лечения.

Никто больше не разговаривал громко. Страх говорил тише любого человека.

— Профессор! - Один из санитаров почти бежал через двор. — Ещё шестеро.

— Раненые?

— Двое после аварии... остальные... - Он запнулся. — Такие же.

Лука коротко кивнул. Он больше не задавал лишних вопросов. Он уже понимал обороты ситуации.

Через четверть часа свободных коек не осталось.

Ещё через полчаса больных начали размещать прямо в коридорах. Сначала на переносных кроватях. Потом на матрасах. Потом — просто на сложенных в несколько раз армейских одеялах.

В хирургическом отделении запах карболовой кислоты постепенно переставал перебивать запах человеческого жара.

Повсюду слышалось тяжёлое дыхание. Приступы кашля. Приглушённые стоны. И тихий шёпот родственников, которые всё ещё надеялись услышать от врачей простое объяснение.

Но простого объяснения не существовало.

— Следующий.

Молодой железнодорожник. Двадцать пять лет. Температура. Сыпь. Сильная слабость.
— Следующий.

Женщина. Прачка. Работала возле товарной станции. Те же пятна.

— Следующий.

Кондуктор. Жар. Кашель. Кровь на платке.

Лука почти перестал смотреть в карточки. Он смотрел на людей. И чем дольше смотрел, тем сильнее мрачнело его лицо.

В какой-то момент он неожиданно подошёл к большому шкафу у стены. Открыл нижний ящик. И достал свёрнутую в трубку карту Лихтенбурга.

Я узнала её сразу. Отец сам рисовал её несколько лет назад, отмечая кварталы, улицы, больницы, мастерские, склады и железнодорожные пути.

Он разложил карту прямо на свободном столе. Достал карандаш. Поставил первую отметку.

— Железнодорожный вокзал.

Вторую.

— Грузовая станция.

Третью.

— Восточные склады.

Четвёртую.

— Мастерские депо.

Он остановился.

Я подошла ближе.

— Ты что-то ищешь?

Отец не сразу ответил. Его взгляд медленно переходил от одной точки к другой.

— Нет. - Пауза. — Пока только пытаюсь понять, что уже нашло нас.

Я невольно посмотрела на карту. Все отметки лежали почти вдоль одной линии. Железная дорога. От самого въезда в город. До центрального вокзала. Совпадение?

— Профессор! - Доктор Беккер вошёл почти бегом. — Температура у первого больного поднялась ещё выше.

— Сколько?

— Почти сорок один.

Фогель, услышав разговор, нахмурился.

— Нужно срочно ставить холодные ванны. Иначе мозг не выдержит.

— Или пустить кровь, — предложил один из старших врачей. — Если снять давление...

— Пиявки тоже могут помочь, — неуверенно добавил другой. — При сильном жаре их всегда назначали.

В комнате стало тихо. Все посмотрели на Луку. Когда-то именно он убеждал молодых врачей не доверять привычке только потому, что она старая. Но сегодня...

Сегодня у него не было ответа лучше.

Он посмотрел на палату, где тяжело дышал первый заболевший. Затем — на врачей.

— Делайте всё, что мы умеем.

Эти слова прозвучали неожиданно тяжело. Потому что каждый в комнате понял их настоящий смысл.

Мы умеем слишком мало.

Лука ещё несколько секунд молчал. Потом тихо добавил:

— И внимательно наблюдайте. Если хоть что-нибудь изменится... даже самая незначительная мелочь... сообщайте мне немедленно.

Врачи разошлись выполнять распоряжения. А отец остался стоять возле карты. Карандаш всё ещё был зажат в его руке. Но он больше не ставил новых отметок.

Впервые за долгие годы я увидела человека, который всю жизнь искал ответы — и внезапно оказался перед вопросом, на который не существовало ни одной страницы ни в одном из его учебников.

Коридоры госпиталя Святой Агнессы уже перестали напоминать те тихие, светлые помещения, в которых я выросла.

Возле стен стояли дополнительные кровати, наскоро собранные из деревянных козелков и широких досок. Там, где ещё вчера свободно проходили два человека, теперь приходилось осторожно протискиваться боком, чтобы не задеть чью-нибудь перевязанную руку или таз с холодной водой.

Я несла очередной поднос с инструментами, когда услышала спор за дверью кабинета. Не громкий. Очень усталый.

— У нас осталось две свободные койки, — говорил доктор Беккер.

— Уже одна, — поправил его Фогель. — Пока вы считали, привезли мальчика с размо- жённой ногой.

— Тогда кого мы переведём в коридор?

Повисло молчание. Такое долгое, что мне захотелось войти и сказать хоть что-нибудь. Но что? За дверью находились люди, посвятившие медицине десятки лет. И даже они сейчас не знали ответа.

— Профессор? — наконец тихо произнёс Клейн.

Лука долго не отвечал. Потом устало посмотрел в журнал поступлений.

— Кто нуждается в постоянном наблюдении?

— Все.

— Кто сможет пережить ночь без отдельной палаты?

Никто не ответил. Лука закрыл журнал. Медленно. Будто вместе с ним закрывалась последняя возможность избежать выбора.

— Тогда будем решать по вероятности. - Эти слова дались ему тяжело. — Те, кому мы можем помочь, должны получить помощь первыми.

Я почувствовала, как внутри всё сжалось. Разве можно измерить человеческую жизнь словом "вероятность"? Наверное, можно. Если ты врач. И если выбора больше нет.

Я вышла во двор, чтобы принести ещё горячей воды.

На ступенях сидел молодой санитар. Совсем мальчишка. Лет шестнадцать. Он смотрел на собственные руки так, будто видел их впервые.

— Всё в порядке? — осторожно спросила я.

Он вздрогнул.

— Я... - Голос дрогнул. — Первый раз потерял пациента.

Я молча опустилась рядом. Он судорожно растирал ладони.

— Мне кажется... я что-то сделал неправильно.

Я вспомнила собственные мысли всего час назад.

"Если взрослые бессильны... что могу сделать я?"

И неожиданно поняла, что сейчас мы думаем об одном и том же. Только он уже успел обвинить себя.

Я осторожно положила ладонь ему на плечо.

— Мой отец однажды сказал... - Я на мгновение замолчала. — Если врач перестанет переживать после смерти человека — ему больше нельзя быть врачом.

Юноша поднял на меня покрасневшие глаза.

— Тогда почему так больно?

Я не знала. Поэтому честно ответила:

— Наверное... потому что иначе нельзя.

Когда я вернулась в операционную, Лука уже заканчивал перевязку очередного раненого. Его движения оставались такими же точными. Такими же спокойными. Если смотреть только на руки, можно было подумать, что ничего не изменилось. Но я слишком хорошо знала отца. Между его бровями появилась тонкая вертикальная складка.

Она появлялась редко. Только тогда, когда он думал сразу о нескольких людях и понимал, что успеть ко всем невозможно.

Я привычно подала ему иглодержатель. Он взял его автоматически. Даже не посмотрев в мою сторону. Раньше это казалось мне признаком полного доверия. Сегодня...

Сегодня мне впервые стало от этого больно.

Я была рядом. Делала всё, чему он учил меня столько лет. Подавала инструменты. Меняла салфетки. Записывала назначения.

Но этого было недостаточно. Недостаточно, чтобы остановить болезнь. Недостаточно, чтобы освободить хоть одну койку. Недостаточно, чтобы вернуть к жизни тех, кого уже не удалось спасти.

Я вдруг почувствовала себя маленькой. Совсем маленькой. Не будущим врачом. А девочкой, случайно оказавшейся среди взрослых, которые отчаянно пытаются удержать рушащийся мир.

И впервые за всё время мне захотелось не наблюдать. Не изучать. Не запоминать. Мне захотелось сделать хоть что-нибудь... что действительно могло бы помочь.

К вечеру казалось, будто госпиталь прожил не один день, а целую неделю.

Часы в коридоре пробили семь. Потом восемь. Никто уже не обращал на них внимания.

Двери приёмного покоя открывались так часто, что перестали успевать закрываться. Сквозняк гонял по коридорам запах сырой земли, лошадиного пота и влажных шинелей, а вместе с ним в госпиталь приходили всё новые люди.

Лука почти перестал выходить из изоляционной палаты.

Каждый новый пациент проходил через его руки. Он осматривал кожу. Глаза. Язык. Слушал дыхание. Проверял лимфатические узлы.

Заставлял подробно рассказывать, где человек был последние несколько дней.

Иногда задавал вопросы, которые казались совершенно странными.

— На какой станции вы работали? Кто ехал с вами в вагоне? Вы были в товарном депо? Контактировали с больными? Где ночевали три дня назад?

Некоторые удивлялись. Некоторые раздражались. Большинство просто не понимало, зачем врачу знать такие подробности. Но отец продолжал спрашивать. Каждый раз. Без исключений.

К полуночи карта Лихтенбурга изменилась. Ещё утром на ней было всего четыре отметки. Теперь... Девять. Пятнадцать. Двадцать две.

Я стояла рядом, пока отец молча наносил очередную маленькую точку.

— Восточные склады... - Ещё одна. — Северная платформа... - Ещё. — Казармы...

Потом он неожиданно остановился. Несколько секунд внимательно смотрел на карту. И впервые за сегодняшний день взял не красный карандаш. А синий.

Я вопросительно посмотрела на него.

— Это здоровые, — тихо пояснил он.

— Кто?

— Те... - Он сделал ещё две отметки. — ...кто постоянно работает рядом с заболевшими.

Я сразу поняла. Врачи. Санитары. Медсёстры. Прачки. Никто из них пока не заболел.

Отец долго смотрел на две группы отметок. Красные. И синие.

— Что ты ищешь? — тихо спросила я.

Он не сразу ответил.

— Ошибку.

— В карте? - Он едва заметно покачал головой. — В своей теории.

Я нахмурилась.

— А если ошибки нет?

Лука впервые за весь день улыбнулся. Очень устало.

— Тогда это хуже.

За его спиной снова разгорелся спор.

— Температура не падает, — раздражённо произнёс доктор Фогель. — Мы уже трижды прикладывали холод.

— Тогда повторим, — ответил Беккер.

— А если добавить укусовые компрессы?

— Или поставить пиявок вдоль позвоночника?

— Можно попробовать хинин.

— Это не малярия.

— Мы этого не знаем.

— Мы вообще ничего не знаем!

Последние слова прозвучали неожиданно громко. Все замолчали. Молодой доктор Клейн медленно опустил глаза. Он будто сам испугался собственного признания.

В комнате воцарилась тишина.

Лука не сделал замечания. Не повысил голос. Он лишь спокойно произнёс:

— Именно поэтому... - Все подняли головы. — ...мы не имеем права делать вид, что знаем.

Когда врачи разошлись, отец медленно снял перчатки. И только тогда тихо поморщился. Я заметила это сразу.

— Что случилось?

— Ничего.

Ответ последовал слишком быстро. Я взяла его руку. На указательном пальце, у самого основания, сквозь влажную ткань виднелась едва заметная красная полоска.

Перчатка была надорвана. Совсем немного. Будто её задела острым краем инструмента. Или... Ногтем пациента.

Я подняла глаза на отца.

Он тоже это увидел.

Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Потом Лука спокойно снял вторую перчатку, тщательно вымыл руки горячей водой с мылом, обработал их спиртом и лишь после этого тихо произнёс:

— Надеюсь... этого будет достаточно.

Почему-то именно в этот момент по моей спине впервые пробежал холод, которого не могло быть даже в самом промозглом госпитальном коридоре.

Отец осторожно вытер руки чистым льняным полотенцем. Долго. Чересчур тщательно. Будто надеялся, что вместе с последними каплями воды исчезнет и неприятное чувство, поселившееся где-то глубоко внутри.

Я продолжала смотреть на маленький разрыв в перчатке. Он был совсем крошечным. Меньше ногтя. Любой другой человек, наверное, вовсе не обратил бы на него внимания.

Но отец смотрел иначе. Он никогда не искал большую ошибку. Он искал маленькую. Потому что именно они чаще всего убивали.

Он молча бросил обе перчатки в металлическое ведро.

— Новые, — коротко сказал он.

Я достала следующую пару. Он натянул их так же спокойно, как делал это сотни раз прежде. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Но внутри бушевало пламя.

В следующие часы работа окончательно перестала делиться на день и вечер. Время исчезло. Оно растворилось между операционными столами, перевязочными и длинными коридорами. Я уже не могла сказать, сколько раз за сегодняшний день меняла таз с горячей водой. Сколько раз кипятила инструменты. Сколько раз переписывала один и тот же диагноз, оставляя после него вопросительный знак. В какой-то момент я заметила, что некоторые страницы приёмного журнала начали заканчиваться. Никогда раньше такого не случалось.

Я открыла новый лист. Чернила ещё не успели высохнуть на первой строке, когда дверь снова распахнулась.

— Профессор!

Во двор вошёл городской полицейский. За ним следовали двое рабочих. Оба поддерживали пожилого мужчину.

— Нашли возле товарных складов. Не ранен. Но идти уже не может.

Мужчина поднял мутные глаза. Его губы дрожали. Он попытался что-то сказать. Вместо слов вырвался сухой, мучительный кашель. Белый платок, который он прижал ко рту, медленно окрасился алыми каплями.

— Отдельную палату. Сразу.

Через несколько минут он собрал всех врачей в своём кабинете. На большом столе лежала карта. Журнал поступлений. И список свободных коек. Вернее... Уже почти несвободных.

Лука долго молчал. Затем спокойно произнёс:

— Господа... Мы перестали помещаться.

Никто не возразил. Потому что это видел каждый. В палатах стояли дополнительные кровати. В коридорах лежали матрасы. Даже небольшая библиотека, где раньше выздоравливающие пациенты читали книги, теперь превратилась в перевязочную.

— Мы можем освободить кабинет физиотерапии, — предложил Беккер.

— Этого хватит максимум на четыре койки, — ответил Фогель.

— Тогда часовню.

— Там уже разместили легкораненых.

Снова наступила тишина. Клейн первым нарушил её.

— Значит... Придётся расширять госпиталь.

Эта мысль ещё неделю назад показалась бы почти безумной. Построить новое крыло? Весной? За несколько дней? Во время непрерывного потока пациентов?

Но сейчас никто не улыбнулся. Лука медленно поднял голову.

— Придётся.

Он подошёл к окну. За стеклом уже сгушались сумерки. На противоположной стороне двора виднелся пустырь, который много лет оставался нетронутым. Когда-то отец мечтал разбить там сад для выздоравливающих. Теперь... Он видел там палаты. Операционные. Ряды кроватей. И людей, которых ещё только предстояло спасти.

— Завтра утром, — тихо сказал он, не оборачиваясь. — Я пойду в ратушу. Потом... - После короткой паузы добавил:

— И в собор.

Я удивлённо посмотрела на него.

— К отцу Конраду?

Лука кивнул.

— Нам понадобится помощь всего города. Потому что с этим... - Он перевёл взгляд на карту, усыпанную красными отметками. — ...один госпиталь уже не справится.

Впервые за всё время болезни мне показалось, что бороться предстоит не только врачам. А всему Лихтенбургу.

***Начало формы

Когда мы вышли из госпиталя, утро уже успело проснуться окончательно. Но город — нет. Мне вдруг показалось, что Лихтенбург стал говорить тише. Не потому, что людей стало меньше. Напротив.

Рыночная площадь была полна. Лавочники расставляли корзины с овощами, булочники выносили ещё тёплый хлеб, из мясной лавки доносился звон ножей, где-то спорили извозчики, а на мостовой громыхали железными ободами телеги.

Всё было почти так же, как неделю назад. Почти.

Я знала этот город столько, сколько помнила себя. Знала, где по утрам ворчат голуби, выпрашивая крошки возле булочной госпожи Гретты. Где старый сапожник господин Бауэр обязательно выходит на крыльцо ровно в восемь, чтобы покормить рыжего бездомного кота. Где цветочница Марта каждую пятницу выставляет перед лавкой белые лилии, утверждая, что они приносят удачу молодожёнам.

Я любила Лихтенбург за эту предсказуемость. За привычки. За маленькие ритуалы, которые казались вечными.

Сегодня же они начали исчезать. Сначала я не могла понять, что именно изменилось. А потом заметила. Люди стали смотреть друг на друга. Не так, как раньше.

Прежде взгляды встречались легко — с улыбкой, с коротким кивком, с привычным:

— Доброе утро, сударь.

— Госпожа.

— Как поживаете?

Теперь же каждый взгляд длился на секунду дольше. Будто человек невольно спрашивал себя: *"Он здоров?"* И почти сразу отводил глаза.

Я почувствовала, как неприятно сжалось сердце. Страх редко приходит громко. Сначала он просто учится жить рядом с людьми.

— Доброе утро, профессор. - Отец привычно снял шляпу.

— Доброе утро, господин Бауэр. - Старый сапожник улыбнулся. Но улыбка получилась какой-то виноватой.

— Говорят... в госпитале уже не хватает мест.

Отец ответил не сразу. Он никогда не любил слухов. И ещё меньше любил ложное спокойствие.

— Пока хватает.

Сапожник облегчённо кивнул. Я же знала отца достаточно хорошо. Он сказал правду. Но не всю. Мест хватало. Пока.

Мы свернули к рыночной площади. Возле колодца собралась небольшая очередь. Женщины набирали воду, переговариваясь почти шёпотом.

Стоило профессору Вайсу появиться на площади, разговоры стихли.

Так происходило всегда. В городе уважали моего отца. Иногда мне казалось, что слишком.

Одна молодая женщина всё же решилась подойти. На руках она держала девочку лет четырёх. Малышка прижималась к матери и сонно тёрла глаза.

— Господин профессор...

Отец остановился.

— Простите... если ребёнок здоров... стоит ли теперь выпускать её играть на улицу?

Я увидела, как отец слегка опустил голову. Вот он. Тот самый вопрос, на который невозможно ответить правильно. Если сказать «да» — мать перестанет быть осторожной. Если сказать «нет» — страх поселится в её доме раньше болезни.

Он присел перед девочкой.

— Как тебя зовут?

— Эмма.

— Любишь бегать?

Она серьёзно кивнула.

— Очень.

— Тогда бегай. Только пообещай одну вещь.

— Какую?

— Если мама скажет вымыть руки перед обедом, не спорь с ней.

Девочка засмеялась.

— Хорошо.

— И ещё... - Он легко коснулся её носа указательным пальцем. — Не позволяй никому кашлять тебе прямо в лицо.

Малышка сморщилась.

— Фу...

— Вот именно.

Она звонко рассмеялась. Мать тоже улыбнулась. Совсем немного. Но её плечи наконец перестали быть такими напряжёнными.

Когда мы отошли, я тихо сказала:

— Ты ведь специально не ответил прямо.

Отец посмотрел на меня. В уголках его глаз появились тонкие морщинки.

— Иногда человеку нужен не ответ.

— А что?

Он посмотрел вслед маленькой Эмме, которая уже тянула мать к булочной.

— Причина не перестать жить.

Мы шли дальше молча. Я украдкой наблюдала за отцом. Вчера мне казалось, что он стал старше. Сегодня — наоборот. Он будто распрямылся. Шёл быстро. Походка оставалась уверенной. Полы длинного светлого пальто слегка развевались на ветру, серебристые пряди в каштановых волосах блестели под солнцем, а неизменная трость, подаренная когда-то благодарным пациентом после сложной операции, так и оставалась скорее привычкой, чем необходимостью.

Большинство жителей видело в профессоре Вайсе выдающегося хирурга. Я же... Я всё чаще ловила себя на мысли, что вижу просто своего отца. Человека, который по вечерам засыпал прямо над книгами. Который иногда забывал поужинать. Который смеялся над совершенно несмешными шутками госпожи Гретты только потому, что не хотел её обижать. И который сейчас нёс на своих плечах тревогу целого города, делая вид, будто она почти ничего не весит.

Мне вдруг нестерпимо захотелось взять его под руку. Как в детстве. Совсем ненадолго. Хотя бы на несколько шагов.

Но я не сделала этого. Потому что теперь рядом с ним шёл уже не ребёнок. Я была будущим врачом. И впервые в жизни поняла, как тяжело иногда бывает взрослеть.

Ратуша уже виднелась в конце площади. Трёхэтажное здание из светлого песчаника возвышалось над соседними домами, словно наблюдало за всем Лихтенбургом сразу. На башне лениво колыхался королевский флаг Астерии, а старые часы, пережившие не одно десятилетие, негромко отбили половину десятого.

До неё оставалось всего несколько десятков шагов. И именно тогда нас снова остановили.

— Господин профессор!

Из толпы торопливо выбрался молодой мужчина в кожаном фартуке кузнеца. Лицо его было испачкано угольной пылью, широкие ладони — покрыты свежими мозолями и мелкими ожогами. За ним нерешительно остановились ещё несколько человек: хозяин лесопилки, плотник, два подмастерья и пожилой каменщик, которого я не раз видела возле строительства новой школы.

Отец остановился.

— Доброе утро, господа.

Мужчины неловко переглянулись. Первым заговорил кузнец.

— Простите... Мы слышали, что в госпитале беда.

Отец внимательно посмотрел на каждого.

— Мы справляемся.

Мне показалось, он произнёс эти слова скорее для них, чем для себя. Кузнец кивнул, но не ушёл.

— Если... если понадобится что-нибудь починить... кровати, инструменты, печи... только скажите.

— А мои ребята помогут с деревом, — негромко добавил хозяин лесопилки. — Досок хватит.

— И каменщиков соберу, — подал голос пожилой мастер. — Старые руки ещё помнят своё дело.

Я переводила взгляд с одного лица на другое. Никто из них ещё не знал, зачем именно отец идёт в ратушу. Они не могли знать. И всё же уже предлагали помощь.

Лука медленно снял шляпу. Это был совсем небольшой жест. Но я знала, что отец так поступал только тогда, когда действительно был тронут.

— Благодарю вас.

Кузнец смущённо пожал плечами.

— Да чего благодарить-то... - Он замаялся. — Это ведь наш госпиталь.

Всего три слова. *Наш госпиталь*. Почему-то именно они прозвучали убедительнее любых речей.

Отец улыбнулся. Совсем немного.

— Надеюсь, через несколько минут у меня будут хорошие новости.

— Какие, профессор?

— Новости, после которых мне понадобится ваша помощь.

Мужчины переглянулись. Никто не стал задавать новых вопросов. Пожилой каменщик лишь поправил старую кепку и уверенно сказал:

— Значит, будем ждать.

Когда мы снова двинулись к ратуше, я ещё долго оглядывалась. Они так и остались стоять посреди площади. Не расходились. Будто решение уже было принято каждым из них задолго до того, как отец успел о нём попросить.

— Папа... - Он повернул голову. — Ты ведь специально ничего им не объяснил?

— Конечно.

— Почему?

Он едва заметно улыбнулся.

— Потому что просьба, сказанная слишком рано, иногда рождает сомнения. - Он посмотрел на высокое здание ратуши, до которого оставалось всего несколько ступеней. — А доверие рождает готовность помочь ещё до того, как прозвучит сама просьба.

Он поднялся на первую каменную ступень.

— Посмотрим, разделяют ли это чувство те, кто принимает решения.

И, впервые за всё утро, тяжёлые дубовые двери ратуши медленно распахнулись перед нами.

Тяжёлые дубовые двери закрылись за нашими спинами с глухим, почти церковным эхом. В ратуше всегда пахло одинаково. Полированным дубом. Старой бумагой. Чернилами. И воском, которым натирали паркетные полы.

Снаружи город жил, шумел, спорил, торговался. Здесь же время словно текло медленнее. По длинным коридорам неспешно прохаживались писари с кипами документов, где-то скрипело перо по плотной бумаге, а на высоких стенах висели потемневшие портреты прежних

бургомистров — серьёзных людей в строгих мундирах, которые, казалось, до сих пор молча наблюдали за всеми, кто переступал этот порог.

Секретарь поднялся нам навстречу прежде, чем мы успели подойти к столу. Невысокий сухошавый мужчина лет пятидесяти с идеально зачёсанными седыми волосами и безупречно выглаженным воротничком. Он сразу узнал отца.

— Профессор Вайс.

— Доброе утро, господин Фальк.

Тот поклонился.

— Господин бургомистр сейчас проводит совещание.

Отец спокойно снял перчатки.

— Моё дело не терпит ожидания.

Секретарь на мгновение замялся. Подобные слова в ратуше звучали редко. Здесь привыкли назначать встречи заранее. Заполнять прошения. Ждать своей очереди. Но профессор Вайс никогда не приходил сюда без причины.

Фальк коротко кивнул.

— Одну минуту.

Он исчез за массивной дверью. Не прошло и тридцати секунд, как дверь вновь открылась.

— Господин бургомистр просит вас войти.

Зал заседаний оказался просторнее, чем я помнила. Высокие окна почти до самого потолка заливали помещение мягким дневным светом. Посередине стоял длинный овальный стол, заставленный картами города, папками с отчётами и тяжёлыми бронзовыми чернильницами.

За столом сидели шесть человек. Бургомистр. Начальник городской стражи. Председатель торговой палаты. Казначей. Главный архитектор. И представитель железной дороги.

Разговор оборвался, едва мы вошли. Все поднялись.

— Профессор Вайс, — первым заговорил бургомистр.

Господину Альбрехту фон Штайнеру было около шестидесяти лет. Высокий, сухошавый, с аккуратно подстриженной серебристой бородой и внимательными серыми глазами, он производил впечатление человека, привыкшего сначала слушать, а уже потом принимать решения. Его тёмно-зелёный сюртук был застёгнут на все пуговицы, словно даже одежда подчинялась той же дисциплине, что и её хозяин.

— Рад видеть вас... хотя подозреваю, повод для визита не слишком приятный.

— Боюсь, вы правы.

Лука не сел. Я заметила, что и остальные остались стоять. Будто понимали: разговор будет коротким.

— Господа, — спокойно начал отец. — Госпиталь Святой Агнессы переполнен. - Несколько человек переглянулись. — После железнодорожной катастрофы свободных палат практически не осталось. - Он сделал небольшую паузу. — Но это уже не главная проблема.

Наступила тишина.

— Среди поступивших пациентов появились люди с заболеванием, которое мне не удаётся отнести ни к одной известной мне болезни.

Казначей нахмурился.

— Простите... вы хотите сказать — заразной?

— Я хочу сказать, что пока не знаю.

Я увидела, как бургомистр внимательно посмотрел на отца. Кажется, именно этот ответ убедил его сильнее любых уверений.

Лука продолжил:

— Именно поэтому я не собираюсь ждать, пока мы получим доказательства. Если болезнь действительно передаётся от человека к человеку, действовать будет уже поздно.

Он подошёл к разложенной на столе карте города.

— Мне необходимо новое помещение. Отдельное. Вдали от хирургических палат. С собственной кухней. Прачечной. И возможностью полностью ограничить вход.

Главный архитектор нахмурился.

— Профессор... вы просите построить новое больничное крыло?

— Да.

— За несколько дней?

— За столько, сколько потребуется.

— Это невозможно.

— Тогда невозможно будет спасти тех, кто поступит следующим.

В комнате стало настолько тихо, что было слышно, как за окнами каркнула ворона.

Никто больше не перебивал его. Потому что каждый присутствующий вдруг понял одну простую вещь. Профессор Вайс пришёл сюда не просить денег. Он пришёл просить время. А времени у города оставалось всё меньше

Разрешение получили быстрее, чем я ожидала. Наверное, потому, что отец не просил. Он объяснял.

Разница между этими двумя вещами оказалась гораздо больше, чем я думала.

Когда мы вышли из ратуши, солнце уже поднялось высоко над крышами Лихтенбурга. Золотой свет ложился на красную черепицу, отражался в окнах домов и рассыпался по мостовой мягкими бликами. Казалось, сам город старался выглядеть спокойнее, чем был на самом деле.

Отец остановился на верхней ступени крыльца и глубоко вдохнул прохладный воздух.

— Теперь начинается самая трудная часть, — негромко сказал он.

— Убедить людей?

Он покачал головой.

— Нет.

Я вопросительно посмотрела на него.

— Не дать им сделать больше, чем позволяют силы.

К полудню возле старого хозяйственного корпуса Святой Агнессы уже собирались люди. Ещё вчера здесь стоял полуразрушенный склад, где хранились старые кровати, сломанные шкафы и сгнившие бочки из-под медицинского спирта. Теперь двор напоминал муравейник. Кто-то выносил доски. Кто-то разбирал прогнившую крышу. Каменщики уже снимали старую кладку. Кузнецы привезли тяжёлые металлические скобы и связки новых гвоздей. Даже железнодорожники, закончившие разгрести последствия крушения, пришли помочь.

Никто никого не записывал. Не проверял документы. Не назначал старших. Люди просто становились рядом и принимались за работу.

Никогда прежде я не видела Лихтенбург таким. Наверное, люди правы: беда и впрямь умеет делать из чужих — своих.

— Люция!

Я обернулась. Госпожа Гретта, запыхавшись, катила небольшую тележку, доверху заставленную корзинами. Из-под полотняных салфеток доносился знакомый запах свежего хлеба. Следом ехала ещё одна тележка. Потом третья.

— Госпожа Гретта...

Она сердито махнула рукой.

— Не смотри на меня так.

— Но ваша лавка...

— Закрыта. - Она сказала это с таким видом, будто речь шла о какой-нибудь пустяковой мелочи. — Булочки подождут. Люди — нет.

Она сняла салфетку с одной из корзин. Под ней лежали ещё тёплые буханки ржаного хлеба, круги домашнего сыра, варёный картофель, зелень и несколько больших глиняных кувшинов с горячим бульоном.

— Думаешь, ваши хирурги вспомнят поесть?

Я невольно улыбнулась.

— Не вспомнят.

— Вот именно. - Она удовлетворённо кивнула. — Значит, придётся вспомнить за них.

По двору разнёсся глухой стук молотков. Я подняла голову. На строительных лесах работали сразу несколько человек. Сначала взгляд привычно выхватил широкие плечи кузнеца. Потом — седого плотника. Потом... Михаэля.

Я невольно остановилась. Сегодня на нём не было ни чёрного подрясника, ни длинной семинарской сутаны. Только простая льняная рубашка с закатанными почти до локтей рукавами, потемневшая от пота на спине, тёмные рабочие брюки и грубые сапоги, покрытые известковой пылью.

Солнечный свет запутался в его тёмных волосах. Лоб пересекала тонкая полоска мела. Широкие ладони уверенно удерживали тяжёлую балку, которую он вместе с двумя плотниками поднимал на второй этаж. И с неожиданной ясностью поняла: я никогда прежде не замечала, насколько он сильный.

Когда тот тихий мальчик из приюта успел стать человеком, рядом с которым выросли даже другие?

Он засмеялся в ответ на какую-то шутку рабочего, легко подхватил конец балки и, словно почувствовав мой взгляд, поднял голову.

Наши глаза встретились. Он улыбнулся. Совсем коротко. Не прекращая работы. И почему-то именно эта короткая, почти случайная улыбка показалась мне красивее всех, что я помнила. Без торжественности. Без церковной серьёзности. Без привычной мягкой сдержанности. Это была улыбка человека, который просто рад видеть другого человека.

— Михаэль.

Голос отца заставил меня вздрогнуть. Лука уже стоял возле лесов. Тот сразу спустился на несколько перекладин ниже.

— Да, профессор?

Отец внимательно посмотрел на огромную балку. Потом на рабочих. Потом снова на Михаэля.

— Ты снова поднимаешь больше остальных.

Михаэль виновато улыбнулся.

— Просто так быстрее.

— Быстрее не всегда означает лучше.

Он подошёл ближе и тем же привычным движением, каким когда-то поправлял мне выбившуюся прядь, стряхнул с плеча Михаэля древесные опилки. Так просто и естественно, будто тот тоже давно был его сыном.

— Если надорвёшь спину, строителей станет на одного меньше.

— Постараюсь этого не допустить.

— Не постарайся. - Отец слегка приподнял бровь. — А не допустишь.

Несколько рабочих негромко рассмеялись.

— Есть, профессор.

Лука удовлетворённо кивнул и уже собирался идти дальше, как пожилой каменщик вдруг негромко сказал, вытирая лоб рукавом:

— Знаете... давно не видел, чтобы весь город работал как одна семья.

Отец остановился. Посмотрел на десятки людей, занятых общим делом. На врачей. На кузнецов. На плотников. На железнодорожников. На семинаристов. На женщин, разливавших горячий бульон.

И очень тихо ответил:

— Будем надеяться... однажды нам не понадобится столь страшный повод, чтобы вспомнить об этом.

Никто ему не ответил. Лишь где-то наверху снова застучали молотки. Ровно. Спокойно. Будто каждый удар приближал не просто завершение нового крыла госпиталя, а надежду, что город ещё успеет опередить беду.

Работа не прекращалась до самого вечера. Солнце медленно клонилось к западу, окрашивая известковые стены госпиталя в тёплый янтарный цвет. Воздух пропитался запахом свежей древесины, сырого камня и горячей смолы. Где-то скрипела пила, ритмично стучали молотки, переговаривались плотники, а из распахнутых окон кухни доносился аромат густой похлёбки, которую госпожа Гретта варила сразу в трёх огромных котлах.

Прежде мне никогда не приходило в голову, что стройка может казаться красивой. Но дело было, конечно, не в лесах, не в досках и не в извести. А в людях. Не существовало больше кузнеца, булочницы, священника или врача. Были просто жители Лихтенбурга. Люди, которые не спрашивали, чья это беда. Они спрашивали только одно:

— Что нужно сделать?

Иногда отец останавливался, чтобы коротко переговорить с мастерами. Иногда сам брал в руки карандаш и прямо на деревянной доске быстро набрасывал новый чертёж перегородок. Он хотел, чтобы палаты получились просторнее. Чтобы между кроватями оставалось больше воздуха. Я заметила это ещё утром. Он всё чаще говорил именно о воздухе

— Осторожно!

С верхнего яруса лесов едва не сорвалась тяжёлая балка. Михаэль успел подхватить её прежде, чем она рухнула вниз. Двое рабочих одновременно ухватились за другой конец. Балка тяжело ударилась о деревянные подпорки, но удержалась. По двору прокатился облегчённый смех.

— Чуть не придавило нашего святого!

— Не дождётесь, — улыбнулся Михаэль, переводя дыхание.

Даже отец позволил себе короткую улыбку.

— Благодарите Господа... и плотников, которые поставили хорошие леса.

Все снова рассмеялись. Только спустя несколько минут я спохватилась, что всё это время смотрю на Михаэля слишком долго. Как легко он разговаривает со всеми. Как быстро находит общий язык с рабочими. Как без колебаний берётся за самую тяжёлую работу, будто ему вовсе не важно, увидит ли это кто-нибудь. Он никогда не старался казаться лучше, чем есть. Просто был таким человеком, рядом с которым другим становилось легче. И почему-то именно это заставляло сердце биться чуть быстрее.

Я тут же мысленно одёрнула себя. Пока вокруг десятки людей работают до изнеможения, я стою и люблюсь...

Мне стало мучительно стыдно. Я пришла сюда помогать — а вместо этого снова и снова выискивала взглядом одного-единственного человека среди десятков других.

Сжав ладони, я поспешила к госпоже Гретте, которая как раз разливала рабочим горячий бульон.

— Чем помочь?

Она подняла голову и, кажется, сразу всё поняла. Не спросила. Не улыбнулась лукаво. Лишь протянула мне половник.

— Помоги накормить мужчин. На пустой желудок даже добро долго не держится.

Я благодарно кивнула. Иногда мне казалось, что госпожа Гретта понимает меня раньше, чем я успеваю понять себя сама.

Сумерки опускались быстро. Рабочие понемногу складывали инструменты. Кто-то растирал натруженные плечи. Кто-то молча пил воду прямо из жестяной кружки.

Михаэль помогал пожилому каменщику аккуратно спуститься с лесов, придерживая его за локоть.

— Спасибо, сынок.

— Не за что.

— Старость всё-таки догоняет.

Михаэль хотел что-то ответить, но не успел. Каменщик вдруг резко остановился. Нахмурился. Прижал ладонь ко рту. Раздался глухой, тяжёлый кашель. Один раз. Потом ещё. Такой сильный, что ему пришлось опереться рукой о деревянную балку.

Несколько человек сразу повернули головы.

— Простудился? — спросил кто-то.

Старик медленно выпрямился и даже попытался улыбнуться, будто хотел извиниться за собственную слабость. — Пыль... — сипло выговорил он. — Целый день известью дышу...

Он снова кашлянул. На этот раз тише. И всё же... Я заметила, как отец задержал на нём взгляд. Всего на несколько секунд. Потом подошёл ближе.

— Как вас зовут?

— Карл... Карл Штайнер.

— Давно кашляете?

Старик смущённо пожал плечами.

— Со вчерашнего дня...

— Температура была?

— Немного знобило ночью.

Он произнёс это так спокойно, будто говорил о перемене погоды. Отец кивнул. Так же спокойно.

— Сегодня больше не работайте.

Карл хотел возразить.

— Профессор, тут каждый человек нужен...

— Именно поэтому.

Лука положил ладонь ему на плечо.

— Завтра утром зайдите ко мне. Я вас осмотрю.

Старик нехотя согласился. Окружающие почти сразу вернулись к своим делам. И всё же мне почудилось, будто вечерний воздух вдруг стал холоднее. Совсем немного. Настолько, что это можно было принять за обычный августовский ветер.

Только отец ещё долго смотрел вслед уходящему Карлу. И я вдруг поняла: сейчас он думает уже не о самом строительстве, а о том, успеет ли новое крыло принять людей раньше, чем болезнь опередит нас.

Через мгновение стройка снова оживала. Застучали молотки. Заскрипели пилы. Кто-то вновь запел негромкую рабочую песню, и вскоре её подхватили ещё несколько голосов. Казалось, сам город упрямо сопротивлялся страху, стараясь перекрыть его шумом человеческого труда.

Я уже собиралась помочь госпоже Гретте убрать пустые котелки, когда за воротами послышался отчаянный окрик.

— Профессор!

По мостовой почти бежал молодой санитар. Шапка сбилась набок, рукава халата были испачканы кровью, а дыхание сбивалось так сильно, словно он преодолел весь город без единой остановки. Он остановился лишь возле отца.

— Госпиталь... — выдохнул он. — Ещё троих...

Отец сразу понял.

— Та же болезнь?

Санитар молча кивнул. Потом, помедлив всего секунду, тихо добавил:

— Один умер по дороге.

Молоток выпал из чьих-то рук. Песня оборвалась. Я впервые увидела, как тишина способна наступить мгновенно.

Отец не произнёс ни слова. Лишь быстро снял рабочие перчатки и передал их ближайшему плотнику.

— Продолжайте без меня.

Затем повернулся ко мне.

— Люция. - Я уже была рядом. — Идём.

Но не успели мы сделать и нескольких шагов, как кто-то окликнул нас с лесов.

— Профессор!

Это был Михаэль. Он уже спускался вниз, почти перепрыгивая через перекладины. Оказавшись на земле, он посмотрел сначала на санитара, потом на отца.

— Что произошло?

— Новые больные.

Он не стал задавать больше вопросов. Лишь коротко произнёс:

— Я помогу.

— Нет.

Ответ Луки прозвучал неожиданно резко. Михаэль замер.

— Профессор?..

— Ты нужен здесь.

— Но если нужны носилки...

— Нужны.

Отец встретился с ним взглядом.

— И всё же ты останешься.

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Я знала этот взгляд отца. Таким он становился не тогда, когда сердился. Таким он становился, когда боялся.

Михаэль понял это тоже. Медленно кивнул.

— Хорошо.

Но когда мы уже подходили к воротам, за спиной вдруг раздался треск дерева. Кто-то вскрикнул. Я обернулась. Михаэль уже бежал. Одна из подпорок под тяжёлой балкой не выдержала, и молодой рабочий оказался прижат к земле. Остальные пытались поднять древесину, но безуспешно. Не раздумывая ни секунды, Михаэль бросился к ним. Ещё двое мужчин ухватились за балку.

— Разом!

Дерево медленно поднялось. Рабочего успели вытащить прежде, чем конструкция окончательно осела. Всё произошло за считанные мгновения. Когда опасность миновала, Михаэль помог парню подняться на ноги и только потом вытер со лба пот тыльной стороной ладони.

Я смотрела на него так, будто на мгновение разучилась дышать. Наверное, любовь не приходит в одну секунду. Она собирается медленно — из случайных улыбок, разговоров у реки, из заботы, которую человек проявляет так естественно, что сам не замечает её. Но иногда наступает миг, когда сердце перестаёт искать оправдания и просто говорит правду. Я больше не могла прятаться за словом «дружба», не могла делать вид, будто ищу его взгляд среди людей случайно. Я любила Михаэля — молча, без признаний, без права на надежду. Так же естественно, как наступает вечер после долгого дня.

И именно тогда вместе с этой правдой в меня вошёл страх. Потому что впервые я испугалась не только за отца. Я испугалась за человека, без которого уже не представляла собственного будущего.

За воротами вновь послышался скрип колёс. На этот раз — сразу нескольких повозок. Госпиталь снова звал нас.

И времени признаться себе в собственных чувствах уже не осталось.

К тому моменту, когда мы вернулись в госпиталь, двор уже невозможно было узнать. Казалось, за те несколько минут, что нас не было, город успел состариться. Возле ворот стояли сразу четыре повозки. Не военные. Обычные. Крестьянские. Городские. Те самые, на которых ещё вчера привозили овощи на рынок.

Теперь на них лежали люди. Некоторые сидели, тяжело опираясь друг на друга. Одни тихо стонали. Другие уже не двигались вовсе.

Но страшнее всего было другое. Среди них почти не осталось солдат.

Я растерянно остановилась.

Перед нами были жители Лихтенбурга. Мужчина в рабочем фартуке, которого я не раз видела возле кузницы. Пожилая женщина с площади. Совсем юная девушка. Мальчик лет тринадцати, судорожно прижимавший к груди шерстяную куртку.

Болезнь больше не запиралась в стенах госпиталя. Теперь она ходила по улицам Лихтенбурга вместе с его жителями.

— Освободить приёмный зал! — громко приказал отец. — Всех с высокой температурой — отдельно! Раненых — в первую и вторую операционные! Никого не смешивать!

Госпиталь пришёл в движение. Но теперь это было уже другое движение. Не слаженное. Отчаянное.

Доктор Фогель быстро подошёл к первому заболевшему. Коротко осмотрел его лицо. Поднял веки. Потрогал шею.

— Всё-таки похоже на брюшной тиф.

— Нет, — сразу ответил Беккер. — Слишком взрослые пациенты.

— Тогда...

Отец резко поднял голову.

— Хватит.

Оба врача замолчали.

— Пока мы спорим, люди продолжают поступать. Лечите то, что можете лечить. Облегчайте жар. Следите за дыханием. И записывайте всё. Каждую мелочь. Каждое изменение.

Я помогала переносить пациентов. Подавала воду. Меняла холодные компрессы. Записывала фамилии. Держала людей за плечи, когда их начинала бить мучительная дрожь. Но с каждой минутой внутри становилось всё тяжелее. Я смотрела на отца. На Фогеля. На Беккера. На доктора Клейна. Они работали без остановки. Без отдыха. Без лишних слов. Все они были прекрасными врачами — и все одинаково бессильны. Это пугало меня сильнее самой болезни. Всю жизнь мне казалось, что взрослые знают ответы заранее — просто не всегда спешат их произносить. Но теперь я видела: иногда они ищут их так же растерянно и отчаянно, как дети.

Я почувствовала, как внутри медленно поднимается совершенно новое чувство. Не страх. Не усталость. Бесполезность.

Если даже отец не может остановить болезнь... если лучшие врачи Лихтенбурга лишь гадают... что могу сделать я? Подать ещё одну салфетку, принести воды, записать ещё одну фамилию в журнал, который становится всё толще? Неужели в этом и есть предел моей пользы — держать чашки, салфетки и чужой жар в дрожащих ладонях? — Люция.

Я не сразу поняла, что зовут именно меня.

Госпожа Гретта стояла у двери кухни с двумя тяжёлыми кастрюлями в руках. Её обычно румяное лицо осунулось, а под глазами впервые легли тёмные тени.

— Помоги.

Мы молча понесли кастрюли в новую палату — ту самую, которую ещё вчера только собирались строить. Для неё спешно освободили старые складские комнаты. Кровати поставили почти вплотную друг к другу, и воздух там уже стал тяжёлым — от жара, лекарственных трав и слишком большого количества человеческого дыхания.

Гретта начала разливать горячий бульон. Подошла к первой кровати.

— Ну-ну, Карл... хотя бы несколько ложек.

Я подняла голову. Это был Карл — тот самый каменщик со стройки. Он открыл глаза. Посмотрел на неё мутным взглядом. Будто пытался вспомнить, кто перед ним.

— Госпожа... Гретта?..

Она улыбнулась так тепло, словно встретила старого друга на воскресной ярмарке.

— Конечно я. Кто же ещё будет ворчать на тебя за то, что опять не ешь?

Она осторожно поднесла ложку к его губам. Он сделал один маленький глоток. Потом второй. И неожиданно прошептал:

— Простите...

— За что?

— Обещал... завтра прийти работать...

У Гретты дрогнули пальцы. Совсем чуть-чуть. Но голос остался прежним. Спокойным. Добрым.

— Балки без тебя не убегут. Ты сначала поправляйся.

Она поправила ему одеяло и молча пошла к следующей кровати. Я стояла, не в силах отвести взгляд. Только сейчас я заметила, что она знала почти каждого. Называла по имени. Помнила их семьи. Спрашивала о детях. О лавках. О собаках. О соседях.

Она разливала не просто бульон. С каждой ложкой будто возвращала этим людям самое простое и самое нужное — ощущение, что они всё ещё не одни, что мир по-прежнему узнаёт их по имени, а не только по температуре и кашлю.

Я не сразу заметила, что так и продолжаю смотреть ей вслед.

Госпожа Гретта переходила от кровати к кровати медленно, словно боялась потревожить не только больных, но и саму надежду.

— Вот так... ещё ложечку... Молодец. Сейчас станет полегче.

Слова у неё были почти одни и те же, но ни одному человеку они не доставались одинаково. Для каждого она находила именно ту интонацию, которая была нужна. Кому-то улыбалась. Кого-то слегка журила. Кого-то гладила по голове, словно собственного ребёнка. Возле последней кровати лежала девочка лет восьми.

Я сразу узнала её. Ещё неделю назад она бегала по рыночной площади с двумя длинными косами, постоянно выпрашивая у госпожи Гретты сладкую булочку с маком.

— Госпожа... — прошептала она едва слышно.

— Да, моя хорошая.

— А булочки ещё будут?

Улыбка Гретты дрогнула — едва заметно.

— Будут, моя хорошая.

— Правда?

— Конечно. Когда ты выздоровеешь, я испеку для тебя самую большую булочку во всём Лихтенбурге.

Девочка слабо улыбнулась и снова закрыла глаза. Гретта поправила ей одеяло. И лишь тогда отвернулась. Я успела заметить, как она стиснула губы — так сильно, будто не позволяла себе расплакаться.

Когда последняя миска опустела, мы молча вышли в коридор. За дверью палаты сразу стало непривычно тихо. Лишь издалека доносились торопливые шаги санитаров да звон металлических инструментов.

Я первой нарушила молчание.

— Вам страшно? Она посмотрела на меня так, будто удивилась не самому вопросу, а тому, что я решилась произнести его вслух. — Каждый день, девочка.

Я растерялась. До этой минуты мне и в голову не приходило, что госпожа Гретта тоже может бояться. Она словно прочитала мои мысли.

— Смелые люди — это не те, которым не страшно, девочка. Она сняла передник, аккуратно сложила его на лавку и устало опустилась рядом. — А те, кто всё равно приходит. Несколько секунд мы сидели молча. Потом я тихо спросила:

— У вас... есть семья?

Она молчала так долго, что я уже пожалела о своём вопросе. Наконец она улыбнулась. Очень грустно.

— Была, — наконец ответила она. — Муж умер давно. Сыновья... уехали в столицу. Сначала писали. Потом всё реже. А после у каждого нашлась своя жизнь, в которой для старой матери осталось не так уж много места.

Больше она ничего не сказала. Но почему-то этих нескольких слов оказалось достаточно. Я вдруг поняла. Она никогда не говорила "мой сын". Никогда — "моя дочь". Никогда не рассказывала о внуках, как другие женщины на рынке. Всё это время... У неё никого не было. Совсем никого. Кроме этого города.

Она будто подтвердила мою догадку.

— Знаешь... раньше мне иногда становилось одиноко. Особенно по вечерам, когда закрывала булочную. - Она улыбнулась уже теплее. — А потом я поняла одну простую вещь.

— Какую?

— Если Господь не подарил мне собственных детей...

Она посмотрела в сторону палаты.

— Значит, подарил сразу весь Лихтенбург.

У меня защипало в глазах.

Я вспомнила малышку, которую она только что уговаривала есть. Старика Карла. Она действительно знала каждого. По имени. По привычкам. По любимым булочкам. Для неё они никогда не были "покупателями". Они были её людьми.

Я вдруг опустила взгляд.

— А я... - Голос неожиданно стал совсем тихим. — Я здесь почти бесполезна.

Она повернулась так резко, что я осеклась.

— Кто тебе сказал такую глупость?

— Никто.

— Тогда откуда она взялась?

Я беспомощно пожала плечами.

— Посмотрите вокруг... - Я едва не прошептала эти слова. — Лучшие врачи города не могут остановить болезнь. Даже отец... Даже он не знает, что делать. Что могу сделать я? Я ведь никого не спасаю...

— Люция.

Я подняла глаза.

— Ты ведь знаешь, как поднимается хлеб?

Вопрос оказался таким неожиданным, что я растерянно кивнула.

— Конечно.

Она улыбнулась.

— Тогда скажи мне... что делает тесто живым?

— Дрожжи.

— Знаешь, что делают дрожжи? Я покачала головой.

Гретта чуть улыбнулась — устало, но по-доброму.

— Их почти не видно. Маленькие, невзрачные — никто и не подумает, что без них тесто так и останется тяжёлым комком. Не поднимется. Не станет хлебом.

Она помолчала, глядя куда-то мимо меня, словно видела не госпитальную стену, а свою старую кухню, рассветное окно и миску с тёплым тестом под льняным полотенцем.

— Вот и ты сейчас такая, Люция. Думаешь, что ничего не делаешь, потому что не стоишь у операционного стола. А между тем помогаешь другим не осесть окончательно. Подниматься. Дышать. Держаться.

Я опустила глаза.

— Но я ведь никого не вылечила...

Гретта тихо фыркнула — не насмешливо, а почти ласково.

— Не всё, что спасает человека, лечит только его тело.

Она снова взяла мою ладонь в свои тёплые, натруженные руки.

— Сегодня тот мальчик выпил бульон только потому, что ты сидела рядом. Старик Карл перестал дрожать, когда ты укрыла его вторым одеялом. А девочка с косами улыбнулась. Ты заметила?

Я неуверенно кивнула.

— Люди редко запоминают, кто первым назвал их болезнь, — сказала Гретта уже совсем тихо. — Но всю жизнь помнят того, кто не дал им почувствовать себя одинокими.

Она поднялась, разгладила передник на коленях и, прежде чем открыть дверь в палату, обернулась ко мне:

— Не всё, что спасает человека, можно измерить градусником, девочка.

И ушла.

А я ещё несколько секунд сидела неподвижно, глядя в полутёмный коридор, по которому она только что прошла. В руках у меня всё ещё оставалось тепло её пальцев, а в груди — странное, непривычное чувство. Будто кто-то осторожно, почти незаметно, переставил внутри меня что-то важное.

И именно тогда мне вдруг вспомнилась книга.

Я опустила взгляд. Наверное, впервые за сегодняшний день мне стало немного легче дышать. Госпожа Гретта каким-то удивительным образом умела делать так, что рядом с ней даже страх переставал казаться всемогущим.

"Каждому Господь поручает своё..." Эти слова ещё звучали у меня в голове. Я невольно задумалась.

Отец всю жизнь изучал человеческое тело. Доктор Беккер знал о лихорадках, наверное, больше любого врача в городе. Доктор Фогель мог провести сложнейшую операцию почти вслепую. Гретта кормила людей так, словно вместе с хлебом отдавала им частичку собственного сердца. Конрад возвращал надежду тем, кто уже переставал молиться. А Михаэль... Я вдруг поймала себя на улыбке. Михаэль всегда умел замечать то, мимо чего проходили остальные. Наверное, именно поэтому несколько дней назад он и принёс мне старую монастырскую книгу о травах. "*Вдруг однажды пригодится.*" Я так и не успела дочитать её до конца. Но теперь вдруг подумала... Сколько ещё подобных книг хранится в монастырской библиотеке? Сколько наблюдений столетиями записывали монахи? И сколько забытых заметок сочли пустыми суевериями лишь потому, что никто больше не открывал этих страниц?

Я тут же одёрнула себя. Нет, это не могло заменить знания врачей. Но разве сейчас у нас было право пренебречь хоть одной мыслью?

Я не успела додумать эту мысль. Госпиталь словно вздрогнул. Где-то в дальнем коридоре раздался глухой стук, будто кто-то опрокинул тяжёлый металлический таз.

Потом послышались быстрые шаги.

— Профессора Вайса! Крик эхом прокатился по каменным сводам. В нём не было паники. Люди, по-настоящему охваченные страхом, здесь давно уже перестали кричать. В этом голосе звучало другое — срочность.

Отец вышел из соседней палаты. Его белый халат всё ещё был забрызган кровью после недавней операции.

— Что случилось?

Молодой санитар тяжело переводил дыхание.

— Каменщик... Карл...

Больше объяснять не пришлось. Мы одновременно бросились в изолированную палату.

Карл уже не лежал. Он сидел, согнувшись почти пополам, и так вцепился обеими руками в край кровати, что побелели костяшки пальцев. Каждый вдох давался ему с таким усилием, будто воздух внезапно стал слишком тяжёлым. Лицо покраснело. По вискам стекал пот. Рубаха промокла насквозь.

Доктор Беккер придерживал его за плечи.

— Осторожно...

Карл вдруг резко закашлялся. Не один раз. Долго. Мучительно. Он попытался отвернуться, но не успел. На белую простыню упали густые алые капли.

У меня похолодели руки.

Лука молча подошёл ближе. Осторожно отвёл ворот рубахи. И замер. По шее, ключицам и верхней части груди стремительно расплзлась багрово-лиловая сыпь. Совсем не такая, какой она была утром. Теперь пятна словно сливались между собой. Будто болезнь перестала скрываться.

" Слишком короткий инкубационный период."

Доктор Фогель тихо выругался.

— Господи...

Никто не сделал ему замечания. Даже отец. Он внимательно осматривал кожу, почти не касаясь её.

— Когда это началось?

Беккер покачал головой.

— Несколько минут назад. Температура поднялась ещё выше. Потом появился кашель. А теперь...

Он не договорил. Все и так видели.

Карл с трудом открыл глаза. Узнав Луку, он попытался улыбнуться. Получилось страшно.

— Профессор... Простите... Я ведь обещал... Закончить крышу...

Лука неожиданно опустился перед ним на одно колено. Совсем близко. Так, чтобы Карлу не приходилось поднимать голову.

— Карл. Послушайте меня. Стройка подождёт. Сейчас ваша работа — дышать. Остальное сделают другие.

Каменщик медленно кивнул. Но в его взгляде уже появилось то самое выражение, которое я начинала узнавать. Люди чувствовали. Чувствовали, когда болезнь становилась сильнее их.

Отец поднялся. Его лицо вновь стало совершенно спокойным. Таким спокойным, что я сразу поняла — внутри происходит совсем другое. Он повернулся к врачам.

— Доктор Беккер.

— Да, профессор.

— Сегодня Карл был на строительстве?

- С самого утра.
- До которого часа?
- Почти до полудня.
- Он обедал вместе с остальными?
- Да.

Лука замолчал. Я видела, как его взгляд медленно перемещается по комнате. Он словно уже не видел ни стен, ни кроватей. Перед ним возникала совсем другая картина. Строительная площадка. Люди. Общие инструменты. Общий котёл с похлёбкой. Передаваемые из рук в руки брёвна. Общие кружки с водой. Он будто мысленно проходил весь сегодняшний день Карла шаг за шагом. Потом очень тихо спросил:

- Кто ещё работал рядом с ним?

В палате воцарилась тишина. Никто не ответил. Не потому, что не хотел. Потому что не мог. На стройке было слишком много людей.

И вдруг сердце болезненно сжалось. Михаэль. Он тоже был там. Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица.

"Нет..."

Эта мысль ударила неожиданно. Настолько сильно, что на мгновение я перестала слышать всё происходящее вокруг.

Если Карл заболел после стройки... Или уже был болен во время неё... Значит...

Я впервые поймала себя на страшном желании. Мне хотелось сейчас же выбежать из госпиталя. Найти его. И спрятать от всего мира.

Теперь уже никто из нас больше не мог быть уверен, где заканчивается опасность

В кабинете отца было непривычно тихо. За толстой дубовой дверью продолжал жить госпиталь. Где-то звенели инструменты. Кто-то торопливо отдавал распоряжения. Скрипели носилки. Кашляли больные.

Но здесь, за закрытой дверью, казалось, время на несколько минут остановилось. Отец молча стоял возле большого стола. Перед ним лежала карта Лихтенбурга.

Несколько минут назад он собственноручно отметил на ней красными чернилами маленькие крестики. Дом Карла. Госпиталь. Железнодорожная станция. Стройка нового крыла.

Он долго смотрел на эти отметки. Потом медленно поднял голову. В дверь тихо постучали.

- Войдите.

На пороге появился Михаэль. На нём всё ещё была рабочая одежда. Тёмная сутана местами была припорошена белой известью, рукава закатаны до локтей, а на ладонях виднелись свежие ссадины. Несколько прядей выбились из аккуратно зачёсанных назад волос и теперь падали на лоб. Он выглядел усталым. Но спокойным. Таким же спокойным, каким был всегда.

- Вы хотели меня видеть, профессор?

Лука жестом указал на дверь.

- Закрой.

Михаэль сразу понял. Что-то произошло. Он молча исполнил просьбу.

Я стояла чуть поодаль, возле книжного шкафа, стараясь не мешать. Но отец не попросил меня выйти. Значит, хотел, чтобы я тоже это услышала.

Лука несколько секунд молчал. Потом спросил:

- Сегодня ты работал рядом с Карлом?
- Да.
- Всё утро?

— Почти.

— Поднимал вместе с ним балки?

— Да.

— Обедал за одним столом?

Михаэль ненадолго задумался.

— Да. Наверное... Да.

Лука кивнул. Словно именно этого ответа и ожидал. Он подошёл к окну. За стеклом продолжалась стройка. Мужчины всё ещё поднимали брёвна. Слышались размеренные удары молотков. Жизнь ещё не знала, что через несколько минут изменится.

— Михаэль. - Отец говорил очень спокойно. — С сегодняшнего дня ты останешься дома. Священник даже не сразу понял смысл услышанного.

— Простите?

— Не выйдешь из дома до моего разрешения.

Повисла тишина. Я увидела, как Михаэль медленно выпрямился.

— Профессор... Сегодня вечером исповедь. Завтра служба. Люди...

— Нет.

Лука произнёс это негромко. Но в его голосе появилась такая твёрдость, что я сама невольно вздрогнула.

— Ты больше не появишься ни в церкви, ни на стройке.

Михаэль нахмурился.

— Но я здоров.

— Надеюсь.

— Тогда почему?

Отец подошёл к столу и положил ладонь на карту.

— Потому что Карл тоже был здоров. Сегодня утром.

Михаэль посмотрел на красные кресты. Потом снова на Луку.

— Вы думаете...

— Я пока ничего не думаю. Я наблюдаю.

Он медленно провёл пальцем по карте.

— Пока мы спорим о природе болезни, она уже перестала спрашивать нашего разрешения. - Он поднял взгляд. — Если мои предположения ошибочны — через несколько дней ты выйдешь отсюда и посмеёшься надо мной. - Он сделал короткую паузу. — Но если прав...

Лука не договорил. И всё же продолжение услышали все. Михаэль опустил голову. Я видела, как тяжело ему даётся молчание. Наконец он тихо произнёс:

— А если прихожане придут сами?

— Не открывай дверь.

— Если человеку понадобится исповедь?

— Молись за него из своего дома.

— А если кто-то будет умирать?

Эти слова повисли в воздухе. Отец долго не отвечал. Наверное, потому что понимал: сейчас говорит не священник. Сейчас говорит человек, который не умеет проходить мимо чужой беды.

Лука медленно подошёл к нему. Положил руку на плечо.

— Послушай меня. Если ты действительно оказался рядом с болезнью, то сейчас твоё милосердие может убивать.

В кабинете стало так тихо, что было слышно потрескивание поленьев в камине. Михаэль закрыл глаза. Совсем ненадолго. Когда он вновь посмотрел на отца, в его взгляде уже не было спора. Осталась только боль.

— Значит... Я буду ждать.

— Да.

— И ничего не делать.

Лука покачал головой.

— Нет. Ждать — тоже бывает самым тяжёлым делом. И иногда самым необходимым.

Михаэль едва заметно кивнул. Он уже взялся за дверную ручку, когда отец неожиданно окликнул его:

— Михаэль.

Тот обернулся. Лука смотрел на него совсем не как профессор. Скорее, как человек, которому самому было тяжело произносить следующие слова.

— И не смей считать это трусостью. Это приказ врача. И... моя просьба. Береги себя.

На мгновение лицо Михаэля изменилось. Он коротко поклонился.

— Благодарю вас... Профессор.

Дверь тихо закрылась. Я ещё несколько секунд смотрела ей вслед.

Только теперь я заметила, что всё это время сжимала в руках подаренную им книгу так сильно, что побелели пальцы. Наверное, потому, что сейчас она была единственным, что осталось от Михаэля рядом со мной.

— Люция.

Голос отца заставил меня вздрогнуть.

— Идём.

Через несколько минут мы уже сидели в маленькой комнате рядом с операционной. Обычно здесь обсуждали сложные случаи. Теперь же на длинном дубовом столе лежали не истории болезней, а листы с именами, домами и улицами, соединёнными между собой карандашными линиями.

Лука молча рисовал карту контактов. Доктор Беккер нервно ходил вдоль окна. Фогель устало растирал виски. Клейн листал медицинский атлас, словно надеялся, что болезнь вдруг появится между уже известных страниц.

— Это не оспа. Не тиф. Не скарлатина... Ответы становились всё короче — и всё безнадежнее. — Тогда что? Вопрос повис в комнате. Лука снял очки, устало потёр переносицу и тихо сказал: — Мы ищем название. А люди тем временем задыхаются.

В комнате повисло тяжёлое молчание. Я опустила взгляд на книгу. Старый зелёный переплёт уже потёрся по углам — видно, Михаэль не раз держал её в руках. Он часто говорил: *«Книга бесполезна, пока её не откроют»*. Я машинально раскрыла её. Не потому, что серьёзно надеялась на чудо. Скорее потому, что мне нужно было занять руки и не смотреть на лица взрослых, впервые оказавшихся бессильными. Страницы тихо шелестели. Можжевельник. Полынь. Зверобой. Шалфей. Липовый цвет...

Я уже собиралась закрыть книгу, когда взгляд вдруг зацепился за короткую приписку на полях — сделанную чьей-то выцветшей рукой. Чернила почти выцвели.

"При тяжёлых болезнях груди больным легче дышится от горячего настоя сосновых почек и влажного пара."

Я перечитала строчку ещё раз. Потом ещё. И неожиданно услышала собственный голос. Совсем тихий.

— Папа...

Никто не обратил внимания. Все продолжали спорить. Я решила громче.

— Папа.

Лука поднял голову.

— Что?

Я немного смутилась. Все врачи смотрели теперь на меня.

— Это... Наверное, ничего важного.

Фогель устало вздохнул. Клейн уже хотел отвернуться. Но отец спокойно сказал:

— Говори.

Я положила книгу перед ним.

— Здесь написано... Что горячий пар и настой сосновых почек помогают больным легче дышать.

Доктор Клейн едва заметно усмехнулся.

— Народные сказки?

Я уже хотела закрыть книгу. Но Лука неожиданно поднял руку.

— Подождите.

Он внимательно прочитал несколько строк. Потом перевернул страницу. Ещё одну. Снова вернулся назад.

— Хм... - Он задумался. — Сосновая смола... Эфирные масла...

Доктор Беккер осторожно произнёс:

— Это может уменьшить раздражение дыхательных путей.

— Или хотя бы увлажнить воздух.

Добавил Лука. Фогель пожал плечами.

— Не навредит.

Отец медленно закрыл книгу. Потом посмотрел на меня. Совсем иначе. Не как на дочь. Как на человека, предложившего гипотезу.

— Попробуем.

Он сразу повернулся к санитару.

— Найдите сосновые почки. Если нет свежих — сушёные. Поставьте большие котлы с горячей водой. Во всех палатах. Пусть больные дышат влажным тёплым воздухом.

— Есть, профессор.

Я не поверила своим ушам. Это была вовсе не победа. Никто не нашёл лекарства. Но впервые за весь день мы не просто отвергали очередную мысль. Мы делали хоть что-то.

Отец посмотрел на меня ещё раз. Едва заметно улыбнулся.

— Спасибо.

Это было сказано так просто. Но почему-то именно эти семь букв сделали меня счастливее любой похвалы.

Однако улыбка исчезла почти сразу. Лука снова стал профессором Вайсом. Он медленно поднялся.

— А теперь... - Он посмотрел прямо на меня. — Ты возвращаешься домой.

— Что...

— Это не просьба.

В комнате стало тихо.

— С этого дня ты больше не работаешь в палатах. Пока я не пойму, с чем мы имеем дело.

Я почувствовала, как сердце болезненно сжалось.

— Но ведь только что...

— Именно поэтому.

Он подошёл ближе. И впервые за всё время положил ладони мне на плечи. Как отец, страшющийся потерять дочь.

— Я уже отправил Михаэля домой. Теперь отправляю тебя. Потому что есть люди, которых я не имею права потерять.

Дом встретил меня тишиной, к которой я так и не успела привыкнуть. Ещё совсем недавно я никогда не замечала, сколько звуков живёт в его стенах. Госпожа Марта, наша экономка, всегда что-нибудь напевала, пока натирала деревянные перила; на кухне потрескивали дрова, где-то хлопали дверцы шкафов, в столовой позвякивал фарфор, а по вечерам в кори-

доре непременно пахло свежим хлебом, сушёными яблоками и лавандой, которой Марта перекладывала бельё в комодах.

Сегодня — ничего. Лишь часы в гостиной спокойно отсчитывали секунды. Тик. Так. Тик. Так.

Отец настоял, чтобы Марта на время уехала к родственникам за город. Она долго отказывалась, плакала, уверяла, что не оставит профессора одного в такой час, но Лука умел быть непреклонным. Особенно когда боялся.

Я медленно сняла пальто, повесила его на крючок и только тогда услышала шум воды со второго этажа. Я сразу поняла, кто это.

Отец велел Михаэлю, едва переступив порог дома, сначала вымыться, сменить одежду и только потом выходить из комнаты. Тогда, в кабинете, это прозвучало почти сурово. Теперь же я вдруг ясно поняла, что суровость была всего лишь другим именем страха.

Я осторожно поднялась по лестнице. Дверь комнаты, которую отец отвёл Михаэлю, была приоткрыта. За ней всё ещё слышалась вода.

— Михаэль?..

Ответа не последовало. Я уже хотела уйти вниз, как дверь распахнулась. И я замерла. Наверное, я никогда прежде не видела его таким.

Не в чёрной сутане. Не в строгом воротничке. Не с тем спокойным, почти собранным выражением лица, которое всегда придавало ему вид человека старше своих лет.

Просто... молодым мужчиной.

Волосы у него ещё были влажными после долгого мытья; несколько тёмных прядей прилипли ко лбу и вискам. Светлая льняная рубашка была надета наскоро и небрежно распахнута у ворота, так что я впервые увидела слишком многое — линию его ключиц, загорелую шею, тёплую кожу на груди, живую, настоящую, совсем не ту, что можно было представить под безупречно строгой чёрной сутаной. Рукава были закатаны почти до локтей, и на сильных предплечьях ещё поблёскивали капли воды; одна медленно скользнула вниз от шеи, затерявшись под распахнутым воротом, и от этого почему-то стало невозможно смотреть спокойно. Я вдруг с мучительной ясностью поняла, что никогда прежде не видела его таким — не священником, не человеком церкви, не почти недосыгаемым образом, к которому все давно привыкли, а молодым мужчиной из плоти и крови, слишком близким, слишком красивым и оттого почти пугающим.

Нижнюю половину лица закрывала аккуратно сложенная полотняная повязка — белая, резкая, почти целомудренная деталь, которая почему-то лишь сильнее подчёркивала всё остальное: влажные волосы, тёмные брови, открытый ворот рубашки и глаза, от которых мне вдруг захотелось немедленно отвернуться.

Увидев меня, он тоже растерялся. Совсем чуть-чуть. Только на мгновение. Потом глаза его улыгнулись.

— Прости, — сказал он приглушённо из-за повязки. — Профессор велел сначала вымыться, потом переодеться, и только после этого позволил считать себя человеком. - Он немного виновато развёл руками. — Боюсь, я отнёсся к приказу слишком усердно.

Я неожиданно рассмеялась. Тихо, почти шёпотом. Наверное, впервые за последние дни — по-настоящему.

— Что? — спросил он.

— Ты выглядишь так... — я запнулась, чувствуя, как предательски теплеют щёки. — Как человек, которого собираются оперировать.

Он тихо хмыкнул.

— Надеюсь, профессор не зайдёт сейчас проверить, достаточно ли тщательно я вымыл руки.

Я снова рассмеялась, и это было странно — смеяться здесь, в доме, который ещё час назад казался мне почти пустым и холодным. Но тревога, сжимавшая грудь с самого госпиталя, вдруг отступила на шаг. Не исчезла. Просто перестала стоять так близко. Потому что он был здесь. Живой. И, кажется, здоровый.

Мы замолчали. Мне вдруг стало неловко оттого, как пристально я на него смотрю. Я поспешно отвела глаза, но всё равно успела заметить, что на его запястьях ещё остались красные следы от грубого мыла — должно быть, он тёр руки до тех пор, пока кожа не начала саднить. Конечно. Он ведь не мог послушаться отца даже в этом.

— Профессор уже вернулся? — спросил он первым.

— Нет.

— Тогда у нас есть одна очень серьёзная проблема.

— Какая?

Он оглянулся в сторону лестницы, ведущей вниз, и понизил голос до конспиративного шёпота, словно собирался сообщить мне государственную тайну:

— Мне кажется, — понизил он голос почти до шёпота, — мы оба совершенно не умеем готовить.

Я удивлённо посмотрела на него.

— Совсем?

— Совсем, — честно признался он. — Я умею печь просфоры. Но если говорить откровенно, они мало похожи на ужин, который должен восстановить силы после целого дня в госпитале.

— Тогда остаётся надеяться, что я хотя бы отличаю соль от сахара.

— Это уже больше, чем умею я.

Мы спустились на кухню. И дом вдруг ожил. Наверное, дело было в том, что кто-то ещё открывал дверцы шкафов, ставил на стол миски, искал нож, оглядывался в поисках дров и ворчал на печь так, будто она была живым существом и нарочно упрячилась ему назло.

Я начала перебирать то небольшое, что осталось на кухне после отъезда Марты: кусок телятины, лук, морковь, засохший корень сельдерея, немного крупы, яйца, полбуханки вчерашнего хлеба и банку солёного масла. Михаэль, не дожидаясь просьб, опустился на колени у печи и принялся разводить огонь.

Получалось у него, надо признать, куда хуже, чем таскать балки на строительстве. Пламя дважды вспыхивало — и тут же гасло. Он хмурился, снова подкладывал щепки, осторожно дул, пачкал руки золой, а я, стоя у стола с ножом в руках, едва сдерживала улыбку.

Наконец огонь разгорелся ровно и уверенно. Михаэль поднялся, стряхнул с ладоней золу и, не оборачиваясь, произнёс:

— Никому не рассказывай.

— О чём?

— О том, что священник проиграл печке почти четверть часа.

— Не обещаю.

Он обернулся.

— Жестоко.

Я поставила на плиту воду для бульона и только тогда заметила, что всё ещё держу под мышкой книгу. Ту самую. В зелёном переплёте, с потёртыми углами и едва заметным золотым тиснением на корешке. Я осторожно положила её на стол. Михаэль сразу её узнал.

— Ты наконец дочитала?

— Не совсем.

Я провела ладонью по переплёту, сама не зная, зачем. Наверное, просто потому, что от одного взгляда на эту книгу во мне снова всплыла сегодняшняя сцена: стол, уставшие лица врачей, спор, отчаяние, и отец, который впервые за весь день не отверг мою мысль.

— Но сегодня, — сказала я тише, — она всё-таки оказалась полезной.

Он поднял на меня взгляд, и я рассказала ему всё.

Михаэль слушал очень внимательно. Не перебивал. Лишь иногда едва заметно кивал, помешивая ложкой закипающую воду так серьёзно, словно от этого зависела судьба нашего ужина.

Когда я замолчала, он тоже некоторое время ничего не говорил. Потом осторожно снял крышку с кастрюли, чтобы пар не бил в лицо, и только после этого произнёс:

— Я же говорил.

— Что?

— Иногда книги ждут своего часа дольше, чем люди.

Я подняла глаза. Он улыбался. Совсем спокойно. Без тени самодовольства, без этой мужской привычки немедленно приписать удачу себе. Просто — будто радовался за меня так же искренне, как радовался бы за ребёнка, который впервые без ошибки прочёл длинное слово.

— Видишь, — сказал он, — получается, она всё-таки нашла того, кому была нужна.

От этих слов мне вдруг стало так тепло, что я поспешно отвернулась к разделочной доске. Лук в моих руках немедленно стал казаться чрезвычайно важным предметом, требующим всего моего внимания.

Я нарезала его слишком быстро и почти сразу почувствовала, как к глазам подступили слёзы.

— Осторожнее, — тихо сказал Михаэль.

Я не успела понять, что именно он имеет в виду. Нож скользнул. Не сильно, только по подушечке пальца, но я всё равно вздрогнула и коротко втянула воздух.

— Дай сюда.

Он оказался рядом так быстро, что я даже не заметила, когда успел обойти стол. Я машинально попыталась спрятать руку за спину.

— Ничего страшного.

— Люция.

Я замерла. Он редко произносил моё имя таким тоном — без улыбки, без мягкой насмешки, почти строго. Но строгость эта была не раздражённой, а какой-то бережной. Так отец говорил с пациентом, который уверял, будто рана пустяковая, хотя кровь уже успела пропитать повязку.

— Покажи.

Я послушалась. Порез и впрямь оказался крошечным, но кровь выступила быстро — яркая, почти неприлично алая на подушечке пальца. Михаэль нахмурился так, будто я по меньшей мере распоролла себе ладонь до кости, а не порезала палец о кухонный нож.

— Люция...

В его голосе было что-то такое, от чего я сразу перестала улыбаться.

Он осторожно взял мою руку в свои — так берут что-то хрупкое, к чему страшно прикоснуться слишком сильно, — и поднёс ближе к свету.

Я почувствовала, как у меня перехватило дыхание. Его пальцы были тёплыми. Удивительно тёплыми после холодной воды, после душа, после всего этого длинного страшного дня.

Несколько секунд он просто смотрел на порез, будто решал, сердиться ему на меня или жалеть.

Потом медленно, почти машинально, он потянул вниз полотняную повязку, закрывавшую лицо. Я даже не успела понять, что он делает. Он склонился к моей руке — совсем близко, так близко, что я почувствовала его дыхание на коже, — и лёгким, почти невесомым прикосновением коснулся губами не самой ранки, а пальцев рядом. Словно это был не поцелуй даже, а что-то ещё более опасное именно своей осторожностью.

У меня на секунду потемнело в глазах.

Михаэль тут же выпрямился, будто сам испугался собственной внезапности, снова натянул повязку на лицо и уже с нарочитым спокойствием потянулся за чистым полотенцем.

— Нужно перевязать, — сказал он так ровно, словно ничего не произошло.

Я молчала. Кажется, если бы в ту минуту от меня потребовали назвать собственное имя, я бы не смогла.

Он оторвал узкую полоску ткани и очень бережно обмотал ею мой палец. Его руки двигались медленно, сосредоточенно, и эта сосредоточенность почему-то смущала ещё сильнее, чем если бы он сказал что-нибудь ласковое. Закончив, он завязал узел, поднял на меня глаза — и только тогда в них мелькнула тень знакомой мягкой усмешки.

— Вот, — тихо сказал он. — До свадьбы заживёт, — тихо сказал он, и голос у него прозвучал так спокойно, будто он вовсе не заметил, что только что сделал со мной одним этим прикосновением.

У меня расширились глаза. Я замялась.

— Спасибо.

— Не за что.

Но руку он отпустил не сразу. Всего на одно лишнее мгновение. Настолько короткое, что, наверное, я могла бы убедить себя, будто мне это просто показалось. Если бы сердце в ту же секунду не ударило о рёбра так сильно, что я едва не выронила нож снова. Я поспешно отвернулась к кастрюле.

— Кажется, бульон сейчас убежит.

— Это будет первое блюдо в истории, которое решит сбежать от собственных поваров.

— И я его прекрасно понимаю.

Он тихо засмеялся.

Потом сам взялся за ложку и принялся помешивать бульон, а я, чтобы не смотреть на него слишком откровенно, занялась хлебом. Нарезала ломти, растёрла с маслом чеснок, нашла остатки зелени и даже отыскала в буфете банку с сушёным тимьяном, о существовании которой Марта, кажется, давно забыла.

Кухня постепенно наполнялась запахами. Лук, масло, мясной бульон, тёплый хлеб, чуть горьковатый тимьян, дым от печи.

Я вдруг поймала себя на страшной, почти кощунственной мысли. Мне хотелось, чтобы отец вернулся как можно позже. Чтобы за окнами не существовало ни госпиталя, ни больных, ни шёпота на улицах, ни красных крестов на карте в кабинете.

Чтобы не было ничего, кроме этого, тёплого света, треска дров, кипящего бульона и Михаэля, который стоял напротив меня в закатанных рукавах, с нелепой полотняной повязкой на лице, и так серьёзно следил за кастрюлей, словно охранял не ужин, а порядок во вселенной.

Я замерла с ножом в руке.

"Нет."

Мысль была такой ясной, что мне стало страшно.

"Нет, Люция. Не смей."

Но сердце, кажется, уже перестало спрашивать у меня разрешения. И хуже всего было то, что я больше не могла притворяться, будто не понимаю, что со мной происходит. Я любила его. Господи, любила. Не как любят дорогого друга. Не как любят человека, которым восхищаются издалека. И даже не как любят доброго священника, всегда находящего для каждого нужное слово. Я любила его так, как, наверное, любить нельзя. Тихо. Безнадёжно. Всем сердцем.

И именно в ту минуту, когда я наконец призналась в этом самой себе, Михаэль поднял голову от кастрюли, заметил, что я слишком долго стою неподвижно, и очень просто спросил:

— О чём ты задумалась?

Я вздрогнула, будто меня поймали на преступлении.

— О том, — ответила я, слишком поспешно отворачиваясь к хлебу, — что если отец попробует наш ужин, эпидемия может показаться ему меньшим бедствием.

Михаэль посмотрел на меня несколько секунд, а потом рассмеялся — тихо, так, что в уголках глаз собрались тёплые морщинки.

— Тогда будем надеяться, что профессор Вайс достаточно измучен, чтобы не заметить наших преступлений против кулинарии.

— А если заметит?

— Скажем, что это был лечебный эксперимент.

— И для чего же он?

— Чтобы выяснить, способен ли человек выжить после супа, приготовленного двумя людьми без малейшего таланта к хозяйству.

Я всё-таки улыбнулась. И подумала, что, если бы кто-нибудь сейчас заглянул на нашу кухню, он увидел бы всего лишь девушку, нарезающую хлеб, и молодого священника, помещающего бульон. Но для меня в ту минуту это было больше, чем обычный вечер. Это было счастье. Совсем маленькое. Совсем хрупкое. И, наверное, именно поэтому такое страшное.

Я так и не поняла, заметил ли он, как дрогнули у меня пальцы. Заметил ли, как я перестала дышать. Или как долго потом не могла поднять глаз на перевязанный палец, потому что кожа под бинтом всё ещё помнила не боль — его губы.

А может быть, заметил. Потому что, прежде чем отвернуться к кастрюле, Михаэль на одно короткое мгновение задержал мою руку в своей ладони — чуть дольше, чем следовало, — словно ему самому тоже было трудно её отпустить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.